



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы — профессия.

- [Михаил Михайлович Филиппов](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Источники](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

Михаил Михайлович Филиппов

Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность

*Биографический очерк М. М. Филиппова, д-ра
философии Гейдельбергского университета
С портретом Лейбница, гравированным в Лейпциге
Геданом*



Глава I

Происхождение. – Суеверия XVII века. – Влияние отца. – Недальновидный учитель. – Чтение классиков и схоластов.

Подобно многим великим людям, Лейбниц был смешанного происхождения: в жилах его текла не только немецкая, но и славянская кровь. Сам Лейбниц в составленной им краткой автобиографии утверждает, что предки его по отцу были родом «из Польши и Богемии». Фамилия «Лейбниц», несомненно, славянского корня – это переделка имени Лубенец. По материнской линии Лейбниц, по-видимому, имел чисто немецких предков: мать его была урожденная Шмукк. По воспитанию и окружающей среде, успевшей вполне онемечить уже прадеда великого Лейбница, немецкий философ, конечно, должен считаться таким же немцем, как и Лессинг – потомок лужицких лесников.

Большая часть немецких писателей безусловно отвергает в натуре Лейбница всякие «примеси». Все, что можно сказать в пользу расовых влияний, сводится к замечанию, что Лейбниц, в противоположность методичному Канту и аккуратному Гайдну, отличался некоторой «славянской» широтой натуры, разбросанностью и порой даже безалаберностью. Черты эти, однако, встречаются и у романских, и даже у чисто германских выдающихся людей. Более серьезным можно считать указание на необычайную легкость, с которой Лейбниц усваивал иностранные языки, – тут атавизм мог играть непосредственную роль, весьма легко объяснимую даже с чисто физиологической точки зрения.

Если оставить в стороне вопрос о расе, то влияние наследственности в более широком смысле слова может быть прослежено у Лейбница довольно глубоко. С обеих сторон, – и с отцовской, и с материнской, – мы видим у него предков, более или менее выдающихся по своему умственному развитию. Отец Лейбница был довольно известный юрист и в течение двенадцати лет преподавал философию или, как тогда выражались, мировую мудрость, занимая должность ассессора на философском факультете Лейпцигского университета. Он был также «публичным профессором морали». Его третья жена, Катерина Шмукк, мать великого Лейбница, была дочерью выдающегося профессора, преподававшего юридические науки. Семейные традиции с обеих сторон предсказывали Лейбничу философскую и юридическую деятельность.

Из автобиографических показаний Лейбница видно, что его отец

весьма рано распознал гениальную натуру сына, можно даже сказать, слишком рано, и рассказ Лейбница об этом не лишен – с точки зрения каждого здравомыслящего читателя – известной доли юмора. Когда над Лейбницием совершили обряд крещения, малютка поднял глаза к потолку. Отец Лейбница усмотрел в этом слишком обыденном случае «особое предзнаменование великой будущности сына» и занес «событие» в свою семейную хронику в витиеватых выражениях, заявив, что сын его всегда будет обращать взоры к небесам, к Божеству и всей своей деятельностью подтвердит указанное предзнаменование.

Другое не менее «знаменательное» событие, характеризующее суеверия того времени, произошло с Лейбницем, когда он был маленьким мальчиком. Пусть об этом расскажет сам Лейбниц, чрезвычайно любивший повторять анекдоты из своего детства с целью доказать, что еще ребенком он был существом необыкновенным. Что же касается его отца, – трудно сказать, играло ли здесь главную роль суеверие, или общая для многих родителей склонность считать своих детей особенными существами.

«Однажды в воскресенье, – пишет Лейбниц, – моя мать пошла в церковь слушать проповедь. Отец был болен и остался дома в постели. Я играл у печки и был еще не совсем одет. Кроме меня в комнате была лишь одна из теток. Я карабкался на скамью, стоявшую подле стола; у стола стояла тетка и хотела меня одеть. Я шалил и со скамьи взобрался на стол; она хотела меня поймать, я кувыркнулся и упал со стола. Отец и тетя вскрикнули и увидели, что я сижу подле стола и смеюсь как ни в чем не бывало, хотя я пролетел гораздо дальше, чем если бы спрыгнул. Отец усмотрел в этом счастливом исходе особое благоволение Божие и немедленно послал слугу с запиской в церковь, чтобы, по обычаю, отслужить благодарственный молебен. Об этом происшествии много говорили в городе. Частью из этого случая, частью не знаю из каких сновидений и предзнаменований, отец мой вывел относительно меня такие большие надежды, что его приятели насмеялись над ним из-за этого».

Впрочем, влияние отца на маленького Лейбница было в общем благотворным. Он старался развить в ребенке любознательность и часто рассказывал ему маленькие эпизоды из священной и светской истории. Эти рассказы, по словам самого Лейбница, глубоко запали ему в душу и были самым сильным впечатлением его раннего детства.

Лейбничу не было и семи лет, когда он потерял отца^[1]. Мать Лейбница, которую современники называют умной и практической женщиной, заботясь об образовании сына, отдала его в школу Николаи, считавшуюся в то время лучшую в Лейпциге. Помощником ректора этой

школы был известный ученый и философ Яков Томазий, отец знаменитого Христиана Томазия, однако преподаватели школы, за немногими исключениями, не блистали талантами.

Лейбниц рассказывает один эпизод из своей школьной жизни, в достаточной мере характеризующий дух тогдашнего школьного образования. Рассказ интересен еще и как доказательство чрезвычайно раннего развития способностей Лейбница. Если Паскаль двенадцати лет изобрел геометрию, то почти так же удивительно изобретение Лейбница, который в таком же возрасте открыл способ изучать римских авторов без помощи словаря и без содействия учителя.

«Когда я подрос, – рассказывает Лейбниц, – мне начало доставлять чрезвычайное наслаждение чтение всякого рода исторических рассказов. Немецкие книги, которые мне попадались под руку, я не выпускал из рук, пока не прочитывал их до конца. Латинским языком я занимался сначала только в школе и, без сомнения, я подвигался бы с обычной медленностью, если бы не случай, указавший мне совершенно своеобразный путь. В доме, где я жил, я наткнулся на две книги, оставленные одним студентом. Одна из них была сочинения Ливия, другая – хронологическая сокровищница Кальвизация. Как только эти книги попали мне в руки, я проглотил их; Кальвизация я понял без труда, потому что имел немецкую книгу по всеобщей истории, где говорилось приблизительно то же самое. Но при чтении Ливия я постоянно попадал в тупик. Не имея понятия ни о жизни древних, ни об их манере писания, не привыкнув также к возвышенной риторике историографов, стоящей выше обыденного понимания, я, откровенно говоря, не понимал ни одной строки. Но это издание было старинное, с гравюрами. Поэтому я внимательно рассматривал гравюры, читал подписи и, мало заботясь о темных для меня местах, попросту пропускал все то, чего не мог понять. Это я повторил несколько раз и перелистывал всю книгу. Забегая таким образом вперед, я стал немного лучше понимать прежнее. В восторге от своего успеха я таким образом подвигался вперед, без словаря, пока наконец мне не стала вполне ясною большая часть прочитанного».

Учитель Лейбница вскоре заметил, чем занимается ученик. Не долго думая, он отправился к лицам, которым мальчик был отдан на воспитание, требуя, чтобы они обратили внимание на «неуместные и преждевременные» занятия Лейбница.

«По его словам, – пишет Лейбниц, – эти занятия были только помехой моему учению. Ливии годился, по его мнению, для меня, как котурн для пигмея. Книги, годные для старшего возраста, надо отобрать у мальчика и

дать ему *Orbis pictus* Коменского и маленький катехизис. Без сомнения, он убедил бы моих воспитателей, если бы случайным образом свидетелем этого разговора не оказался один живший по соседству ученый и много путешествовавший дворянин, друг хозяев дома. Пораженный недоброжелательством или, лучше сказать, глупостью учителя, который мерил всех одною мерою, он стал, напротив, доказывать, как было бы нелепо и неуместно, если бы первые проблески развивающегося гения были подавлены суворостью и грубостью учителя. Наоборот, надо всеми средствами благоприятствовать этому мальчику, обещающему нечто необыкновенное. Немедленно попросил он послать за мною, и когда, в ответ на его вопросы, я ответил толково, он до тех пор не отстал от моих родственников, пока не заставил их дать обещание, что меня допустят в библиотеку моего отца, давно находившуюся под замком. Я торжествовал, как если бы нашел клад, потому что сгорал от нетерпения увидеть древних, которых знал только по имени, — Цицерона и Квинтилиана, Сенеку и Плиния, Геродота, Ксенофонта и Платона, писателей Августова века и многих латинских и греческих отцов церкви. Все это я стал читать, смотря по влечению, и наслаждался необычайным разнообразием предметов. Таким образом, не имея еще двенадцати лет, я свободно понимал латынь и начал понимать по-гречески».

Этот рассказ Лейбница тем более ценен, что подтверждается и сторонними свидетельствами, доказывающими, что его выдающиеся способности были замечены и товарищами, и лучшими из преподавателей. Лейбниц особенно дружил в школе с двумя братьями Иттигами, которые были значительно старше его возрастом и считались в числе лучших учеников. Отец их был учителем физики, и Лейбниц любил его больше прочих учителей.

Кроме физики и Ливия, Лейбниц увлекался еще и Вергилием; до глубокой старости он помнил наизусть чуть ли не всю «Энеиду». В старших классах его особенно отличал Яков Томазий, однажды сказавший мальчику, что рано или поздно он приобретет славное имя в ученом мире.

Впоследствии Лейбниц изобразил в довольно поэтической форме свои юношеские стремления, описав себя под именем Пацидия.

«Когда Пацидия допустили в библиотеку отца, он взял себе в учителя Провидение. Он слышал внутренний голос, повелевавший ему: *tolle lege!* (возьми и прочитай). Сама судьба назначила ему остаться без посторонней помощи, без совета, и в его возрасте ему осталось руководствоваться лишь собственной смелостью. По воле случая он прежде всего занялся древними... и подобно тому, как люди, часто бывающие под лучами

солнца, загорают помимо своей воли, так и он приобрел известного рода окраску не только в выражениях, но и в образе мыслей. Когда он позднее принялся за новейших писателей, ему стало тошно от их книг, заполонивших в то время книжные лавки, от этих мешков, набитых пустотою или бестолковою смесью чужих мыслей, без привлекательности, без силы и полноты, без всякой живой пользы. Можно было подумать, что все это написано для какого-то иного мира, который эти авторы называли то своею республикой, то своим Парнасом. Когда он снова думал о древних, с их мужественными, полными силы мыслями, объединяющими всю жизнь человеческую как бы на одной картине, с их естественною, ясною, текучею, приспособленною к содержанию формой, – различие оказывалось огромным! Оно было так велико, что Пацидий с той поры поставил себе двумя основными правилами: искать в словах и выражениях ясности, в вещах – пользы. Позднее он узнал, что ясность есть основа всякого суждения, а польза – основа всякого открытия, и что большинство людей заблуждаются именно потому, что слова их неясны, а опыты бесцельны. Вооруженный такими началами, он казался своим сверстникам по школе каким-то чудом».

Любопытно, что еще в двенадцатилетнем возрасте Лейбница любил отыскивать во всем «единство и гармонию». В первый раз он усмотрел и то, и другое в различных науках. Он успел понять, что цель всех наук одна и та же и что наука существует для человека, а не человек для науки. «Он пришел к мысли, что отдельному человеку должно казаться наилучшим то, что плодотворнее всего для всеобщего, и что наилучшим средством для прекрасного служит человек».

Лейбничу не было еще четырнадцати лет, когда он изумил своих школьных учителей, проявив еще один талант, которого в нем никто не подозревал. Он оказался не только филологом, но и поэтом, – по тогдашним понятиям истинный поэт мог писать только по-латыни или по-гречески.

В день Троицы, по обычаю, один из учеников должен был прочесть праздничную речь по-латыни. Ученик, на которого выпала эта обязанность, заболел, и никто не вызвался заменить его. Наконец обратились к Лейбничу: товарищи знали, что он мастер писать стихи. Действительно, Лейбниц взялся за дело и в один день настроил триста гекзаметров, причем, для пущей важности, нарочно постарался избежать хотя бы единого стечения гласных. Стихотворение вызвало одобрения учителей, которые признали Лейбница выдающимся поэтическим талантом, хотя и выразили опасение, что он, ради стихотворства, пренебрежет научными занятиями. Опасения были напрасны. Натура Лейбница отличалась такой

жаждой новизны, что он не мог остановиться окончательно на какой-либо одной стороне умственной деятельности. Тогдашняя сухая школьная логика привлекала его не менее поэзии. В этой скучной науке Лейбниц сумел найти больше того, что ему предлагали в учебниках и в классе. Под покровом варварских схоластических формул Лейбниц сумел увидеть нечто такое, что скрывалось от его учителей. В четырнадцатилетнем возрасте он стал вдумываться в истинную задачу логики как *классификации элементов человеческого мышления*. Лейбниц рассказывает об этом следующее:

«Я не только умел с необычайною легкостью применять правила к примерам, чем чрезвычайно изумлял учителей, так как никто из моих сверстников не мог сделать того же; но я уже тогда во многом усомнился и носился с новыми мыслями, которые записывал, чтобы не забыть. То, что я записал еще в четырнадцатилетнем возрасте, я перечитывал значительно позднее, и это чтение всегда доставляло мне живейшее чувство удовольствия. Из моих тогдашних соображений приведу лишь один пример. Я видел, что логика подразделяет простые понятия на известные разряды, так называемые *предикаменты*^[2]. Меня удивляло, почему не подразделяют подобным же образом сложные понятия или даже суждения так, чтобы один член вытекал или выводился из другого. Придуманные мною разряды я называл также предикаментами (категориями) суждений, образующими содержание или *материал умозаключений*, подобно тому, как обыкновенные предикаменты образуют *материал суждений*. Когда я высказал эту мысль своим учителям, они мне не ответили ничего положительного, а только сказали, что мальчику не годится вводить новшества в предметы, которыми он еще недостаточно занимался. Позднее я понял, что порядок, к которому я стремился, совершенно тот же, как в элементарной математике, где одно предложение вытекает из другого. Этого самого я напрасно добивался от философов».

В пятидесятилетнем возрасте Лейбниц все еще охотно вспоминал о своих первых школьных занятиях логикой.

«Я должен сознаться, – пишет он Габриэлю Вагнеру, – что и в прежней (схоластической) логике было кое-что полезное. Я обязан сказать это из чувства благодарности, потому что действительно мне принесла пользу и та логика, которую преподают в школах... Я перечитывал всевозможные руководства, стараясь выискать в них род общего реестра всех вещей, существующих в мире. Часто я задавал вопросы самому себе и товарищам, спрашивая, к какому предикаменту (категории) и к какому разряду относится то или иное. Вскоре я имел удовольствие открыть, что с помощью таких предикаментов можно многое угадать или вспомнить

забытое, когда имеешь в мозгу некоторое представление, но не можешь фазу отыскать его. В таких случаях надо только спросить себя самого или других по известным предикаментам и дальнейшим подразделениям. С этой целью я даже составил таблицы... При таком допросе можно быстро исключить все не относящееся к делу и обнаружить настоящего „виновника“. Составляя такие таблицы познаний, я нашел, что эти деления и подразделения и составляют связь мыслей... Такого рода занятия доставляли мне особое удовольствие, и из того, что я нашел тогда, многое даже теперь мне кажется не совсем дурным... Эти деления и подразделения составляют род тенет для ловли дичи. Когда мне возражают, что хорошие головы обходятся и без такого пособия, я отвечаю, что даже дурная голова может с таким пособием иной раз сделать более, чем хорошая, действующая без всякой системы. Ребенок при помощи линейки может провести лучшую прямую линию, чем искуснейший рисовальщик прямо от руки. Превосходные умы несомненно достигнут при таком пособии весьма многоного».

Замечательно, что еще в ранней молодости Лейбница соединил свои первые попытки к реформе школьной логики с остроумной идеей, впоследствии возобновлявшейся в самых разнообразных формах: он пытался создать «азбуку мыслей», идеографию или «пасиграфию», род усовершенствованных иероглифов, долженствующих выражать абстрактные научные понятия. Подобно тому, как буква есть символ звука, составляющего часть слова, знаки Лейбница должны были выражать собою простейшие общие понятия, а из комбинации этих знаков должны были получаться символы не отдельных слов, а суждений и умозаключений. Предположим, что буквою А обозначается понятие человек, буквою Б – понятие смертный, буквою В – понятие о множественном числе, в таком случае комбинация А Б В достаточно ясно выражает собою суждение: *Люди смертны*. Нечего и говорить, что практическое осуществление идеи Лейбница представляет почти непреодолимые трудности. Мысль создать «азбуку идей», одинаково понятную всем народам, увлекательна, но разумное применение ее уже сделано в области формул математики, химии и других наук. Идти далее того едва ли уместно. Так или иначе, эта мысль пришла на ум Лейбничу еще в школьные годы и занимала его в течение всей жизни, не дав, однако, сколько-нибудь удовлетворительных результатов.

«Две вещи, – пишет Лейбниц, – принесли мне огромную пользу, хотя обыкновенно они приносят вред. Во-первых, я был, собственно говоря, самоучкой, во-вторых, во всякой науке, как только я приобретал о ней

первые понятия, я всегда искал *новое*, часто просто потому, что не успевал достаточно усвоить обыкновенное... Когда у меня впервые возникла мысль о возможности составить азбуку, выражающую человеческие понятия, и когда я подумал, что, комбинируя буквы этой азбуки, можно, быть может, все найти и все исследовать, я пришел в восторг. Моя радость была, конечно, сначала радостью мальчика, не вполне постигшего величие предмета. Позднее, чем больше я над этим думал, тем больше во мне укреплялась решимость заняться столь важным вопросом».

На школьной скамье Лейбниц успел уже прочесть все более или менее выдающееся, что имелось в то время в области схоластической логики. Он читал какого-нибудь Суареса «так легко, как милезийскую сказку или как так называемые романы». Богословские трактаты также интересовали его. Он прочел сочинение Лютера о свободе воли, многие полемические трактаты лютеран, реформатов, иезуитов, арминиан, томистов и янсенистов; то было время, когда ожесточенные религиозные войны малопомалу уступали место теоретической полемике. Эти новые занятия Лейбница встревожили его воспитателей. Они боялись, что Лейбниц станет «хитроумным схоластиком». «Они не знали, – пишет философ в своей автобиографии, – что мой дух не мог быть наполнен односторонним содержанием».

Глава II

Студенческие работы. – Полигистор. – Вейгель. – Томазий. – Интриги деканши. – Докторский экзамен. – Лейбниц в роли розенкрайцера.

Пятнадцатилетним юношей Лейбниц стал студентом Лейпцигского университета (1661 г.).

По своей подготовке он значительно превосходил многих студентов старшего возраста. Правда, характер его занятий по-прежнему оставался крайне разносторонним, можно даже сказать беспорядочным. Он читал все без разбора, богословские трактаты наряду с медицинскими.

В начале своей студенческой жизни Лейбниц много терял от плохой математической подготовки, не позволявшей ему, например, понять еще в то время философию Декарта. Неудивительно, что, зная лишь школьных философов своего времени, Лейбниц предпочитал им древних. Малопомалу он, однако, ознакомился и с великими умами новейшего времени, – с Декартом и Бэконом, с Кеплером и Галилеем.

Официально Лейбниц считался на юридическом факультете, но специальный круг юридических наук далеко не удовлетворял его. Кроме лекций по юриспруденции, он усердно посещал и многие другие, в особенности по философии и математике.

В числе профессоров философии в Лейпциге были Адам Шерцер, ученый представитель схоластики, и Яков Томазий, поклонник Аристотеля, человек с огромной начитанностью и выдающимся преподавательским талантом. Сам Лейбниц признавал, что Томазий много способствовал систематизации его разнородных, но разрозненных знаний. Томазий читал историю *философии* в то время, как другие читали только историю *философов*. Очевидно, что в лекциях Томазия гениальный ученик нашел не только новые сведения, но и новые обобщения, новые мысли, и бесспорно, что эти лекции немало содействовали его быстрому ознакомлению с новым направлением, с великими идеями конца XVI и начала XVII века. То была знаменательная эпоха, когда в Италии и во Франции новый дух уже совершил крупные завоевания, система Коперника и Галилея была отвергаема лишь инквизицией и невеждами, а миросозерцание Декарта вытеснило даже авторитет Аристотеля, превратившись, в свою очередь, в неприкосновенную догму. Картезианизм успел отчасти повлиять и на Германию, хотя и не дал здесь обильных плодов из-за тогдашней

сравнительной отсталости немцев в математических и физических науках.

Пропасть между схоластикой и новой философией была так велика, что свет новых идей сперва ослепил Лейбница. «Этот юноша, – пишет он, изображая себя под именем Пацидия, – был необыкновенно счастлив, когда ознакомился с планами великого Фрэнсиса Бэкона, с глубокими мыслями Кардана и Кампанеллы, с опытами лучшей философии, которые он нашел в трудах Кеплера и Галилея, и Декарта».

Как уже было замечено, несмотря на существование отдельных гениев, каким был Кеплер, Германия не могла в то время считаться передовой в области физико-математических наук. Преподавание этих наук в немецких университетах было поставлено намного хуже, чем во Франции, Италии и Англии. В Лейпциге Лейбниц слушал лекции профессора Кюна, который шел не дальше «Начал» Эвклида и читал их так неясно, что, говорят, из юных студентов один Лейбниц понимал его лекции и потом разъяснял товарищам более удобопонятным языком. Желая пополнить свое математическое образование, Лейбниц отправился в Йену, где славился математик Вейгель.

Этот профессор был ум довольно оригинальный и, по своей многогранности, до известной степени родственный Лейбничу. Подобно своему великому ученику, Вейгель был тем, что в Германии начала XVIII века называли полигистором (*Polyhistor*); во Франции конца того же века он получил бы название энциклопедиста. Вейгель был одновременно математиком, философом и юристом. Он разработал свою систему «естественнego права», и в Йене упорно держались слухи, что Пуфendorf немало позаимствовал из тетрадок Вейгеля. Вейгель был ярым противником схоластики и, как впоследствии сам Лейбниц, пытался примирить Аристотеля с новейшей наукой. Сверх того, он отличался неистощимой изобретательностью и постоянно носился с разными проектами, в числе которых было немало смехотворных. Так, например, Вейгель вздумал заменить мифологические названия созвездий новыми, заимствованными из гербов европейских владетельных лиц. Он носился также с планом устройства особых гигиенических качелей, якобы могущих избавить от всяких недугов. Но наряду с такими проектами у Вейгеля попадается немало дельных и здравых мыслей. Между прочим, он много занимался вопросами морали, к которым пытался применить математический метод. Не ограничиваясь теорией, он хотел основать практическую «Школу добродетели», то есть образовательно-воспитательное заведение, где главное внимание предполагалось отвести «не словесным, а реальным наукам и где юноши должны учиться не только

науке, но и добродетели». Многие смеялись над этим проектом, но Лейбниц был иного мнения. Называя Вейгеля «опытным ученым математиком», Лейбниц замечает, что проект основания «Школы добродетели» вовсе не так неосуществим, как думают иные. Из всех университетских профессоров Лейбница Томазий и Вейгель были его любимыми учителями, оказавшими на него несомненное влияние, насколько вообще ум, подобный Лейбничу, поддается посторонним влияниям и чужому руководству.

Кроме математика Вейгеля, Лейбниц слушал в Йене также некоторых юристов и историка Бозиуса. Последний ввел его в собрания учебного общества, состоявшего из профессоров и студентов и именовавшегося «коллегия пытливых». В числе тетрадей Лейбница была переплетенная в четвертую долю листа с надписью золотыми буквами: «Отчеты о занятиях коллегии», но в эту тетрадь было внесено им весьма немногое, да и вообще Лейбниц пробыл в Йене недолго. Главной его целью были все же занятия юриспруденцией, а в этом отношении Лейпциг стоял выше Йены.

О дальнейших занятиях Лейбница рассказывает следующее:

«Я бросил все остальное и занялся тем, от чего ожидал наиболее плодов (то есть юриспруденцией). Я замечал, однако, что мои прежние занятия историей и философией значительно облегчили мне понимание юридической науки. Я был в состоянии без труда понимать все законы, и поэтому не ограничился теорией, но посмотрел на нее сверху вниз, как на легкую работу, и жадно ухватился за юридическую практику. У меня был приятель в числе советников лейпцигского надворного суда. Он часто приглашал меня к себе, давал мне читать бумаги и показывал на примерах, как должно судить. Я вникал в глубь науки, обязанность судьи мне чрезвычайно нравилась, но адвокатские крючки были мне противны, поэтому я никогда не хотел вести процессы, хотя, по общим отзывам, я прекрасно писал по-немецки».

Последние слова Лейбница требуют объяснения. Дело в том, что в то время слог саксонских канцелярий считался образцовым в Германии, и Лейбниц мог только поэтому прослыть стилистом. На самом деле его немецкий слог был довольно тяжел.

«Таким образом, – продолжает Лейбниц, – я достиг семнадцатилетнего возраста, и более всего меня радовало то обстоятельство, что я работал не по чужим мнениям, а по собственному влечению. Этим путем я достиг того, что всегда был первым между своими сверстниками во всех общественных и частных лекциях и собраниях, и таково было мнение не только учителей, но и моих товарищей».

По тогдашним правилам, Лейбниц мог держать докторский экзамен не иначе, как после пятилетнего пребывания в университете и выдержав целый ряд предварительных испытаний. Эти правила чрезвычайно тяготили Лейбница. «Мне совестно и жалко подумать, сколько времени потерял я понапрасну ради этого срока», – писал он впоследствии.

Лучшие из профессоров оценили его: особенно высокого мнения был о Лейбнице Яков Томазий, который председательствовал на первом диспуте молодого бакалавра (30 мая 1663 года). Темою для этого диспута Лейбниц избрал вопрос о принципе индивидуальности, – выбор замечательный по связи этого принципа с позднейшим учением Лейбница о «монадах». Эта первая латинская диссертация Лейбница полна схоластических причуд и тонкостей: однако и в ней уже сказывается сильный и независимый ум. Томазий так ценил эту диссертацию, что сам написал к ней предисловие, в котором публично заявил, что считает Лейбница вполне способным «к труднейшим и запутанным прениям».

После этого диспута Лейбниц поехал в Брауншвейг, где жил его дядя, известный юрист Штраух, бывший профессор истории в Йене, а в то время – городской синдик. Целью поездки было согласовать с дядей некоторые спорные вопросы по наследству, оставленному отцом Лейбница. Штраух ценил способности племянника и даже переписывался с ним по научным вопросам, но, тем не менее, спор из-за наследства произвел между ним и Лейбницем значительное охлаждение.

Возвратившись в Лейпциг, Лейбниц блестательно выдержал экзамен на степень магистра «свободных искусств и мировой мудрости», то есть словесности и философии. В своей диссертации он чрезвычайно самоуверенно говорит о своих занятиях философией. Указав на трудности избранной им темы, Лейбниц прибавляет: «Едва ли кто-либо более моего способен к решению этого вопроса, потому что я, как только посвятил себя юридической науке, при каждом удобном случае возвращался к философии». Лейбниц советует и другим юристам не относиться к философии с пренебрежением и понять, что без философии большая часть вопросов права представляет лабиринт без выхода.

Лейбничу в то время не было и 18 лет. Вскоре после магистерского экзамена его постигло тяжелое горе: он потерял мать. По обычаю, ректор Лейпцигского университета разослал печатное латинское приглашение на похороны вдовы профессора Катерины Лейбниц, – документ любопытный в том отношении, что дает подробные сведения о предках Лейбница, которые тут же перечислены со всеми их званиями и должностями.

Семейное горе ненадолго прервало научные занятия Лейбница. По

смерти матери он занялся, кроме юриспруденции, греческой философией. Частью под влиянием Вейгеля и Томазия, частью по собственному влечению, Лейбниц пытался согласовать системы Платона и Аристотеля как между собою, так и с системой Декарта. Он не принадлежал, однако, к числу тех эклектиков, которые чисто внешним образом склеивают и сбрасывают в одну кучу разнороднейшие миросозерцания, не имея при этом своего собственного взгляда. Как точный и оригинальный ум он стремился не к созданию компилиативной системы, а к синтезу, к поиску общих начал, поглощающих в себе прежние системы как односторонние частности. Главный вопрос, представлявшийся его уму, состоял в следующем: возможно ли соединение в одном высшем начале двух по-видимому взаимно исключающихся миросозерцаний, из которых одно допускает в природе лишь механический принцип, тогда как другое видит во всем целесообразность?

Судя по письму, написанному Лейбницием уже в старости Монфору, вопрос о целесообразности, о телеологии или, как выражались схоластики, о «субстанциальных формах» волновал Лейбница еще в пятнадцатилетнем возрасте. «Когда я только что познакомился с сочинениями новейших философов, — пишет Лейбниц, — я, в то время еще 15-летний мальчик, часто гулял один подле Лейпцига, в рощице, называемой Розенталь, и рассуждал о субстанциальных формах. Наконец, механическая теория одержала верх и побудила меня взяться за изучение математики».

Мы видели, что Лейбниц с этой целью побывал в Йене и слушал Вейгеля. В Лейпциге математическое образование не шло дальше Эвклида, Вейгель познакомил Лейбница с основаниями алгебраического анализа. По возвращении в Лейпциг Лейбниц хотя и не продолжал систематических занятий математикой, однако и не расставался с ними вполне и даже пытался применить математику к юриспруденции и философии. Особенно занимала его теория сочетаний.

Было уже сказано, что Лейбниц давно составил план «азбуки идей». Весьма естественно было предположить, что путем сочетания различных символов, изображающих понятия, суждения и умозаключения, удастся чисто механическим путем добить разные полезные выводы. Само собою разумеется, что результаты, достигнутые Лейбницием при его тогдашней малой математической эрудиции, не могли быть особенно значительными. Он, по-видимому, и не подозревал, что теория сочетаний уже привела к результатам весьма существенным не только для математики, но и для всех точных наук, через посредство созданной Паскалем, Ферма и Гюйгенсом теории вероятностей, гораздо более плодотворной, чем логические

упражнения, которыми он занимался.

Между тем Лейбниц, еще не достигнув 20-летнего возраста, считал себя уже вполне подготовленным к докторскому экзамену. Но тут с ним произошло несколько странное приключение, рассказываемое его биографами по-разному. Наиболее правдоподобный рассказ сводится к следующему.

По обычаю (сохранившемуся в Германии до сих пор), Лейбниц должен был накануне докторского экзамена сделать визиты профессорам, прежде всего декану. Лейбниц явился к декану и постучал в дверь. Вышла деканша и спросила молодого человека довольно грубо, чего ему надо от ее мужа. Когда Лейбниц объяснил, что желает держать докторский экзамен, деканша пренебрежительно осмотрела его с головы до ног и сказала:

– Сначала не мешало бы отрастить себе бороду, а потом являться по таким делам.

Этот ответ до такой степени задел самолюбие двадцатилетнего юноши, что он, не сказав более ни слова, ушел и не возвращался.

Из этого вредно, что, в буквальном смысле слова, Лейбнику никто не воспрещал держать экзамен, а он сам отказался из-за оскорбленного самолюбия. Биограф Людовици, передающий эти подробности, наивно поясняет, что декан был тут ни при чем, во всем виновата деканша, которая, по общему отзыву, была «не из числа набожнейших и кротчайших женщин Лейпцига». Сверх того, известно, что декан, наоборот, был отличнейшего мнения о Лейбнице: незадолго перед рассказанным эпизодом он дважды лично предоставил Лейбничу читать с кафедры.

Для более полной характеристики нравов необходимо заметить, что докторский диплом по юридическому факультету был в то время в Лейпциге предметом соискания многочисленных кандидатов: с ним соединялись чисто практические выгоды. При юридическом факультете состоял род юридического бюро (*Spruchcollegium*), решавшего разные практические вопросы. Это учреждение включало 12 членов, непременно докторов Лейпцигского университета, но не из числа профессоров. Как нарочно, в 1666 году на открывшиеся вакансии явилось множество кандидатов, из которых Лейбниц, также добивавшийся попасть в «коллегию», оказался самым младшим по возрасту. Весьма естественно предположить, что в числе кандидатов были и родственники или кумовья деканши, чем и объясняется прием, оказанный ею Лейбничу.

Лейбниц в своей автобиографии, хотя ни словом не упоминал о деканше, признает существование направленных против него интриг. Он пишет между прочим: «Когда я заметил интриги моих соперников, я

изменил свое первоначальное решение и вздумал путешествовать. Я считал недостойным молодого человека оставаться прикованным к месту, и мой дух сгорал нетерпением прославиться в науках и изучить мир».

Раздосадованный своей неудачей Лейбниц оставил родной город и буквально «отряс прах от ног своих». Никогда более он не возвращался в Лейпциг, и, что замечательно, в Лейпциге вскоре совсем исчезла память о его жизни в этом городе. Несмотря на все расспросы немецких биографов, в сороковых годах нынешнего века ни один лейпцигский старожил не мог им указать ни дома, ни улицы, где родился и провел детство один из величайших философов Германии.

Осенью 1666 года Лейбниц уехал в Альторф, университетский город маленькой Нюрнбергской республики, состоявшей из семи городов и нескольких местечек и сел. Республика эта славилась своими художниками, учеными, промышленниками. Здесь искусства достигли довольно высокого совершенства в то самое время, когда в остальной Германии все пришло в упадок после Тридцатилетней войны; здесь еще не вошло в моду обезьянничанье, господствовавшее при маленьких и больших немецких дворах, копировавших французские нравы. «Посмотрите на Нюрнберг, – писал Лейбниц в одном из своих сочинений; – там еще можно видеть немецкие платья, там нет излишней роскоши».

Впрочем, Лейбниц имел особые причины любить Нюрнберг: с именем этой республики было связано воспоминание о его первом серьезном жизненном успехе. Здесь ему чрезвычайно повезло. 5 ноября 1666 года Лейбниц блестательно защитил докторскую диссертацию «О запутанных делах». Почти одновременно он написал другую статью, которую сочинил по дороге из Лейпцига в Альторф. Тема была любопытной: «О новом методе в юриспруденции». Еще раньше, в сочинении «О комбинациях», Лейбниц рассуждал о «естественному праве»; в своей докторской диссертации и в названной статье он вполне ясно высказывает мысль о необходимости дополнить «естественному правом» всякое положительное законодательство. По его словам, если положительное законодательство молчит, то никак нельзя молчать судьям. Нет такого случая, когда судья вправе был бы сказать, что не решил дела по отсутствию законного основания. Не правы юристы, основывающиеся на отсутствии закона, не правы и те, кто в таких случаях полагается на судьбу или на личное мнение судьи. Везде, где неприменим положительный закон, должен быть применен принцип естественного права, и наоборот, это право должно иметь значение до тех пор, пока не доказано обратное на основании закона или договора.

Эти и другие мысли развел Лейбниц в своей диссертации о сомнительных судебных делах. Его ученость, красноречие, ясность изложения привели всех в изумление. Декан факультета, Иоганн Текстор (один из предков Гёте), написал об этом диспуте одному из друзей в самых лестных выражениях. Сам Лейбниц до глубокой старости с удовольствием вспоминал о своем юношеском торжестве. Он написал об этом в своей автобиографии следующее:

«Я произнес две речи: одну – в прозе, другую – в стихах. Первая вышла до такой степени округленною, как будто я читал ее с рукописи; но когда я затем прочел стихи, мне пришлось приблизить бумагу к глазам (потому что я близорук) так близко, что все тотчас поняли, что предыдущую речь я произнес наизусть. Поэтому все подумали, что я выучил прозу наизусть, и удивились, спрашивая, почему я лучше не сделал это со стихами, что гораздо легче. Я ответил, что они ошибаются. Я не учил прозу наизусть, но произнес ее экспромтом. Они не хотели верить. Я сослался на пример проповедников, довольствующихся лишь краткою программою проповеди. Латинская речь течет у меня так свободно, как у них немецкая. Тут я достал бумаги, и они убедились, что написано было совсем иначе, чем я говорил. За это менясыпали чрезвычайными похвалами».

Экзаменаторы так восхитились красноречием диспутанта, что просили его остаться при университете; но Лейбниц отказался, не чувствуя особого призыва к профессорской деятельности. Не желая ни оставаться в Альтдорфе, ни возвратиться в Лейпциг, Лейбниц на первых порах не составил себе никакого определенного плана действий. Он поехал в соседний с Альтдорфом главный город республики, Нюрнберг, где жил его однофамилец (по другим сведениям, дальний родственник) Юстус Лейбниц, с которым философ Лейбниц был хорошо знаком. В Нюрнберг молодого философа привлекла молва о знаменитом обществе розенкрейцеров, во главе которых стоял тогда проповедник Вёльфер. Юстус Лейбниц также принадлежал к этому таинственному обществу. Известно, что Декарт в свое время напрасно пытался узнать тайны розенкрейцеров.

Юный Лейбниц, отличавшийся талантами дипломата, выказал в этом случае много находчивости и хитрости. Он достал сочинения знаменитейших алхимиков, выписал из них самые темные, непонятные и даже варварски нелепые выражения и формулы и составил из всего этого род ученой записки, в которой, по собственному признанию Лейбница, он сам ничего не мог понять. Эту бессмыслицу он преподнес председателю

алхимического общества с просьбою принять его сочинение как явное доказательство основательного знакомства с алхимическими тайнами. Розенкрайцеры оказались настолько наивными, что немедленно ввели Лейбница в свою лабораторию и сочли его по меньшей мере адептом. Ему было даже поручено, за известное годовое жалованье, вести протоколы общества. Лейбниц действительно в течение некоторого времени состоял секретарем общества, вел протоколы, записывая результаты опытов, и делал выдержки из знаменитых алхимических книг. Многие члены общества даже обращались к Лейбничу за сведениями, а он, в свою очередь, в самое короткое время постиг всю их премудрость. Лейбниц никогда не сожалел о времени, потерянном в обществе розенкрайцеров. Много лет спустя он писал:

«Я не раскаиваюсь в этом. Впоследствии я, не столько по собственному влечению, сколько по желанию monarchov, не раз предпринимал алхимические опыты. Моя любознательность не уменьшилась, но я сдерживал ее в пределах благоразумия. А сколь многие споткнулись на этом пути и сели на мель как раз в то время, когда воображали, что плывут при попутном ветре!»

Глава III

Знакомство с Бойнебургом. – Майнцский курфюрст. – Полемика с Гоббсом и картезианцами. – Польская кандидатура. – Египетский проект. – Арифметическая машина. – Математические открытия.

Через посредство розенкрайцеров Лейбниц познакомился в Нюрнберге с приехавшим туда по своим делам бывшим майнцским министром Бойнебургом. Друзья Лейбница рекомендовали его министру, который тоже немного занимался алхимией, и устроили так, что бывший министр однажды обедал с молодым Лейбницием за одним столом в гостинице. При этом случае Лейбниц сумел произвести на Бойнебурга самое благоприятное впечатление, а это имело немаловажное влияние на дальнейшую судьбу философа.

Бойнебург был одним из выдающихся дипломатов своего времени. Как раз перед знакомством с Лейбницием бывший министр майнцского курфюрста впал в немилость. Раньше он играл блестящую роль. Бойнебург был одним из образованнейших между тогдашними немецкими аристократами; он изучал право в Йене, потом – в Гельмштедте, где слушал знаменитого Конринга. Несмотря на то, что он был лютеранин, католический прелат, именовавшийся майнцским курфюрстом, сделал его своим министром двора. Положение лютеранина при дворе первого германского католического прелата было, однако, двусмысленным, и дело кончилось тем, что Бойнебург, отличавшийся веротерпимостью и даже некоторым индифферентизмом, принял католическую веру. Это не избавило его от интриг соперников, и дело кончилось тем, что курфюрст лишил Бойнебурга всех его должностей и велел посадить в крепость. Следствие доказало ложность доносов. Бойнебург был освобожден, и курфюрст лично предлагал ему почетное удовлетворение, но примирение состоялось лишь впоследствии, когда племянник курфюрста женился на дочери бывшего министра.

Лейбниц познакомился с Бойнебургом в переходное время, когда курфюрст делал попытки к примирению, а Бойнебург еще считал себя обиженным, но уже мог рекомендовать Лейбница своему монарху. Впечатление, произведенное молодым Лейбницием на сорока четырехлетнего дипломата, бывавшего при многих европейских дворах и видавшего немало знаменитостей, было таково, что он написал бывшему своему профессору Конрингу письмо, посылая ему сочинение

Лейбница «О новом методе в юриспруденции». «Я отлично знаю автора, — писал Бойнебург. — Он доктор прав, двадцати двух лет, чрезвычайно ученый, превосходный философ, человек с необычайно обширными познаниями, острым суждением и сверх того весьма трудолюбивый».

Бессспорно, Бойнебург оказал значительное влияние на Лейбница как человек светский, притом много видевший, много испытавший. Лейбниций никогда не отрицал этого влияния, хотя не без основания утверждал, что отплатил Бойнебургу сторицей не только в нравственном отношении, но и в материальном. В особенности, во время пребывания Бойнебурга в Дюссельдорфе Лейбниц был у него и секретарем, и адвокатом, и даже библиотекарем: на составление каталога к обширной библиотеке Бойнебурга Лейбниц затратил немало труда.

В свою очередь Бойнебург рекомендовал Лейбница, где только мог — и в ученом мире, и различным дворам. Один из знаменитейших юристов того времени, уже упомянутый Конринг, со слов Бойнебурга заинтересовался Лейбницем и вступил с ним в переписку.

В 1671 году он писал Лейбницу: «Рад, что ты не нуждаешься в принуждении к труду, скорее следует сдерживать изливающуюся через край силу и думать не только о настоящем, но и о будущем».

По совету Бойнебурга Лейбниц последовал за ним во Франкфурт и здесь напечатал свое сочинение о новом методе в юриспруденции, посвятив его майнцскому курфюрсту, Иоганну Филиппу Шёнборну.

Этот курфюрст был человек довольно замечательный. Сын небогатого дворянина, — «вестервальский мужик», как он называл себя, — он своими талантами быстро составил себе карьеру, пройдя в пять лет все ступени от каноника до примаса Германии. Он не был фанатичен, и одним из первых выступил против варварских процессов о ведьмах. В политическом отношении Шёнборн был вождем Рейнского союза, колебавшегося между Австрией и Францией. Лейбниц высоко ценил курфюрста и после его смерти писал:

«Шёнборн был одним из дальновиднейших германских владетелей. Это был ум, полный высоких идей, заботившийся об интересах всего христианского мира... Он не ожидал, что равновесие между Францией и Австрией будет нарушено и что Франция так скоро возьмет перевес. Как бы то ни было, он был свидетелем бедствий Германии, он видел ее еще дымившиеся (после Тридцатилетней войны) развалины и принадлежит к числу людей, наиболее стремившихся к восстановлению мира. Германия едва могла дышать, в ней остались почти одни несовершеннолетние юноши».

Получив от Бойнебурга рекомендацию и уверение, что никто не коснется его религиозной свободы, Лейбниц отправился (1667) в Майнц к курфюрсту, которому был немедленно представлен. Ознакомившись с трудами и с личностью Лейбница, курфюрст пригласил молодого ученого принять участие в предпринятой реформе: курфюрст пытался составить новый свод законов. Работа была поручена, главным образом, Лассеру и Лейбничу. Рассказывают, что Лейбниц, для сокращения времени, купил два издания Юстинианова кодекса, разрезал текст, расклеил на бумаге и на полях делал пометки, примечания и исправления. Не следует забывать, что римское право было основою законодательства германских государств, и о составлении кодекса на основании обычного или же «естественног» права в то время можно было только мечтать.

В течение пяти лет Лейбниц занимал видное положение при майнцском дворе. Этот период в его жизни был временем оживленной литературной деятельности: Лейбниц написал целый ряд сочинений философского и политического содержания. В области философии он изложил лишь первые основания своей будущей системы; в области политики разрабатывал частью вопросы, связанные с его официальными миссиями, частью же вопросы более общего характера, причем в его политических трактатах сказывался скорее философ и даже математик, чем дипломат в обыкновенном смысле этого слова.

Философские трактаты майнцского периода состоят в тесной связи с тогдашними богословскими полемическими сочинениями. С обеих сторон, – и с католической, и с лютеранской, – уже стали делать первые попытки к воссоединению церквей, попытки, большей частью оканчивавшиеся тем, что каждая из сторон упорствовала в своих мнениях. Но прежней вражды не было, сплошь и рядом католики дружили с лютеранами, и на сцену уже вышел их общий враг – материализм, с которым одинаково враждовали и в Риме, и в Аугсбурге. Лейбниц при своем идеалистическом мироизрещении не мог даже на время стать материалистом. Мы уже указывали, что еще пятнадцатилетним юношеством он задумывался над вопросом о конечных целях и о механической причинности: механическая теория первоначально взяла верх, но не в материалистическом, а в картезианском смысле, да и то на недолгое время. Идея божества как чего-то стоящего совсем вне мира была слишком чужда Лейбничу при его стремлениях к «гармонии», к согласованию даже явно противоречивых принципов путем подчинения их новому высшему началу.

Это стремление Лейбница видеть в мире всюду порядок и гармонию ясно сказывается в его юношеском трактате или, лучше сказать, письме,

озаглавленном «Основательное искоренение атеизма». Это заглавие было переделано издателем, который сочинил громкое название: «Исповедь природы против атеизма».

Полемика против «атеистов» была предпринята Лейбницем, как говорят, по поручению Бойнебурга. Этот вопрос не имеет особого значения: слишком очевидно, что Лейбниц боролся с атеистами по внутреннему убеждению, а не по заказу.

Цель Лейбница – поразить атеистов их собственным оружием. Он приводит изречение Бэкона: «Капля, выпитая из кубка философии, удаляет от Бога, но если выпить кубок до дна, то возвращаешься к Богу». Лейбниц пытается доказать, что познание природы нимало не ослабляет религиозные чувства.

То было время, когда Гоббс уже выступил со своими смелыми теориями, вызвав тени Демокрита и Эпикура. Лейбниц готов на серьезные уступки материалистам: его цель доказать, что материализм страдает внутренним противоречием. Допустим, говорит он, что все в мире сводится к движению атомов материи. Всякое тело есть «существование в пространстве» – это неоспоримо. Но из существования тела в данном месте вытекает лишь возможность перемены этого места, то есть возможность движения, а не само движение. Тела движимы, но не самоподвижны, доступны известной формировке, но не формируют сами себя. Помимо этого, даже чисто статические свойства тел, оказываемое ими сопротивление, связь между отдельными частями и т. п., по мнению Лейбница, не могут быть объяснены единственно величиною, формою и движением, как того хотят материалисты.

Из этого Лейбниц выводит – путем слишком поспешного логического скачка, – что все не объяснимое величиною, формою и движением вообще не может быть приписано материальным причинам, стало быть, должно быть объяснено причинами нематериальными – как будто, например, «сопротивление движению» должно считаться менее «материальным», чем «величина, форма и движение». Эти «нематериальные причины» свойств тел Лейбниц обобщает под понятием силы, «формирующей, движущей, приводящей все в порядок». Отсюда лишь один шаг до теории «мировой гармонии», на которой основано позднейшее миросозерцание Лейбница.

Если мы уступим Лейбничу в основном пункте, то есть признаем правильность его произвольной классификации материального и нематериального (хотя и неразрывно связанного с материей), его доводы против «атеистов» становятся неотразимыми. Чрезвычайно легко доказать, что не все материально, раз мы заранее исключили из области

материального все, что служило для нас камнем преткновения. Если любое тело представляет не скопление «грубой» материи, а сочетание грубого вещества с чем-то более тонким, чем «тонкая материя» картезианцев или чем «эфир» новейших физиков, то само собою разумеется, что проще всего назвать это «нечто» духом, под которым и подразумевается «нечто» противоположное грубой материи. Более точное определение духа дается нелегко, в чем убеждает пример Лейбница. «Дух, – говорит он, – есть деятельная сущность, его деятельность состоит в мышлении». В этом никто не сомневается, но какая тут связь с силой, с сопротивлением движению, со связью между частицами материи – явлениями, которые, по мнению Лейбница, нельзя объяснить чисто материальными причинами? Выяснить эту связь, со своей точки зрения, Лейбничу удалось лишь впоследствии. На первый раз он ограничился выяснением противоположности между духом и телом. Мысление, по уверению Лейбница, «сознается как нечто неделимое, стало быть, оно неделимо, то есть не имеет частей»; движение, напротив, делимо: стало быть, мышление не есть движение, и мыслящее существо или дух отличается следующими основными свойствами: дух недвижим, неделим, неуничтожаем, стало быть, бессмертен. На это «атеисты» могли бы возразить, что, по их учению, великолепно изложенному Лукрецием в его поэме «О природе вещей», материя, хоть она движима и делима, но также «неуничтожаема», стало быть, «бессмертна» – смертна только «форма», и, если допустить, что материю формирует дух, то отсюда, пожалуй, можно было бы прийти к выводу, весьма неутешительному для спиритуалистов, что есть сказать, что дух умирает, или, по крайней мере, существенно изменяется вместе с формой, в которой он воплотился. Во всяком случае, доводы, выставленные Лейбницем против материализма, далеко не такого уничтожающего свойства, как он думал, и материализм более логичен и последователен, чем произвольная классификация Лейбница, по которой всякое движение заключает в себе нематериальный принцип.

Тесно связано с этим трактатом письмо, написанное Лейбницем из Майнца своему бывшему профессору Якову Томазию. Здесь Лейбниц уже прямо выступает как основатель самостоятельной философской системы, отличающейся и от философии Аристотеля, и от учений Декарта и Спинозы. Лейбниц прямо устраняет мысль о солидарности с картезианцами: он никогда и не был последователем Декарта. «Я менее всего картезианец, – пишет Лейбниц. – Я не боюсь сказать, что нахожу в физических книгах Аристотеля больше истин, чем в рассуждениях Декарта – так далек я от того, чтобы был приверженцем этого последнего». Затем

Лейбниц развивает свою давнишнюю мысль о необходимости примирить Аристотеля с новейшей физикой.

«Я в одном согласен с Декартом, – пишет он, – в том, что физические явления должны быть объясняемы исключительно величиною, формою и движением». Возможность указанного «примирения» Лейбниц видит в том, что в физике и Аристотель не дал ни единого принципа, который не мог бы быть объяснен величиною, фигурой и движением. Как мы видели, Лейбниц ни за что не хочет признать движений, присущих материи. «Материи свойственно лишь протяжение и непроницаемость, но движение может быть объяснено лишь нематериальной причиной». Эту теорию Лейбниц ценит потому, что видит в ней достаточное основание для доказательства существования божественного начала.

Несколько позднее Лейбниц написал два трактата, из которых один озаглавлен «Теория конкретного движения» и посвящен Лондонскому королевскому обществу, другой, «Теория абстрактного движения», посвящен Парижской академии наук. Оба эти трактата посвящены не столько механическим, сколько философским вопросам. Здесь выставлена гипотеза мирового эфира, но еще далеко не в той строгой математической форме, какую она приняла у современника Лейбница, знаменитого Гюйгенса. В то время Лейбничу не хватало еще должной математической подготовки, которую он получил в Париже и в Лондоне, прежде чем сам выступил в роли реформатора математики.

В Майнце Лейбниц написал еще два любопытных сочинения: одно чисто богословского содержания, второе – представляющее филологический интерес. Первое было написано в опровержение Виссоварского, написавшего трактат против учения о Троице. Ответ Лейбница показал, что молодой философ превосходно владел богословской диалектикой. По своему обыкновению, Лейбниц пытался поразить противника его же оружием. «Отвергать учение о Троице, – пишет Лейбниц, – значит отвергать божественность Христа. Если Христос – не Бог, значит он – только человек, а между тем Виссоварий поклоняется Христу как богоподобному существу. Но если Христос – не Бог, он вовсе не может быть предметом религиозного почитания». Любопытно, что в то время, когда Лейбниц ломал копья в защиту учения о Троице, его великий современник и будущий соперник Ньютон выступил в защиту его противников социнианцев.

Другое упомянутое сочинение Лейбница посвящено вопросу о слоге философских трактатов.

«Что такое хороший философский слог? – спрашивает Лейбниц и дает

совершенно удовлетворительный ответ. – Что отличает философа от нефилософа? Оба наблюдают тот же предмет, имеют одни и те же представления; почему бы обоим не говорить одинаковым языком? Вся разница в том, что философ относится к предмету, размышая о нем, тогда как нефилософ бессознательно проходит мимо. Философ имеет отчетливые представления, ясные мысли... Философский слог есть, стало быть, слог ясный, в изложении вполне точный по словам и оборотам. Философская речь не терпит ничего лишнего значения и смысла, ни одного пустого или темного слова».

Вот рецепт, которого, к сожалению, не имели перед собою многие поколения философов как до, так и после Лейбница!

По словам Лейбница, философ должен по возможности употреблять наиболее удобопонятные выражения. Чем общеупотребительнее, чем популярнее выражение, тем оно лучше. Туманные выражения приличны пророку, алхимику, оракулу, мистику, но не философу. Есть лишь один случай, когда дозволено изобретать искусственные выражения и когда эти выражения действительно обогащают слог, а именно – когда при помощи одного удачно избранного термина можно сказать то, что иначе пришлось бы пояснить данным описательным выражением. Краткость есть также одно из условий хорошего слога. Если бы, например, у нас не было слова «квадрат», то пришлось бы говорить десятки слов там, где теперь мы употребляем одно это слово. Ясно, что всего уместнее вводить искусственные термины в математику, механику и физику, и, наоборот, наименее уместны такие искусственные выражения в науках философских и моральных.

Итак, пишет Лейбниц, пусть философ говорит по возможности простым, ясным и конкретным языком. Пусть избегает всяких излишних отвлеченностей вроде схоластических «здесьностей» и «такостей». Лейбниц советует философам писать преимущественно на народном языке; сам он писал, главным образом, по-латыни и по-французски, потому что стремился к известности, а в его время немецкие сочинения не читались даже немецкими учеными. Лейбниц утверждал, однако, что немецкий язык более всех приспособлен к философии. Латинская фраза часто является маской недомыслия; часто во время диспута можно прижать противника к стене самым простым способом, а именно – заставить его объясняться на родном языке.

Было сказано, что во время пребывания в Майнце Лейбниц занимался политикой и дипломатией еще больше, чем наукой и философией. Плодом этих занятий был целый ряд трактатов, представляющих большой

исторический интерес.

Целью Лейбница было устраниТЬ опасности, грозившие немцам с запада со стороны Франции и с юго-востока от турок. Поссорить Францию с Турцией казалось ему поэтому заветною целью германской дипломатии; впрочем, кроме этого плана, у Лейбница было еще много других. Он, между прочим, написал памфлет в защиту немецкого кандидата на польский престол после отречения Яна-Казимира.

Памфлет этот написан чрезвычайно логично и остроумно; доказательства имеют характер почти математических теорем, что не препятствует живости изложения. Лейбниц применяет к политическим вопросам метод, сходный с тем, которым пользуется теория вероятностей. Остроумие Лейбница блещет особенно там, где он, вполне входя в роль польского дворянина, возражает против московской кандидатуры.

Ученость и остроумие Лейбница не повлияли, однако, на поляков. Все иностранные кандидаты провалились, и, совершенно неожиданно, был избран поляк из дома Пястов.

Более серьезное значение имеет другое сочинение Лейбница, трактующее о способах охраны германских государств. Сочинение это написано по-немецки; немецкий слог Лейбница едва ли можно назвать хорошим даже для того времени, когда все имели перед собою образец сильной и чистой речи Лютера. Лейбниц пересыпает немецкую речь латинскими и французскими выражениями, часто без малейшей нужды. Тем не менее, он один из первых оценил мировое значение немецкого языка, немецкой культуры и даже германской государственности: Лейбниц был красноречивым и сильным проповедником германского единства. За это ему можно простить дурной немецкий слог, который он сам называл хорошим, не признаваясь в том, что впоследствии нередко просил Людовольфа и других поправлять свои немецкие сочинения.

Основная идея брошюры Лейбница – образование немецкого союза, ядром которого должны быть, по его плану, прирейнские государства. Самое главное, что необходимо для Германии, – это устранение внутренних раздоров. Пока Германия разрознена, «она есть яблоко раздора, мяч, бросаемый всеми, кто только стремится к основанию всемирной монархии». Лейбниц считает возможным полное объединение Германии. Устроить общий рейхстаг, общее войско – значит, по его мнению, проложить путь для военной диктатуры. Его план – образование «союза государств», рода федерации, которая, никому не угрожая, будет пользоваться всеобщим уважением и сочувствием.

Подобно тому, как в наши времена Бисмарк, Лейбниц был

отъявленным врагом женской политики. «Два главные орудия, которыми пользуется Франция, – пишет он, – это деньги и народ. Но под народом я подразумеваю здесь нечто иное, чем обыкновенно: не мужчин, а бабий народ. Деньги и женщины – это два инструмента, открывающие все замки, все двери и пролезающие даже без помощи волшебного кольца во все уголки».

Иронически изображает затем Лейбниц немецкие дворы, где господствуют французские дамы, которые стали во Франции залежавшимся товаром. Плохой французский товар, «живой и мертвый», щедро вывозится из Франции в Германию, всюду господствует французский язык; моды, умы обрабатываются на французский манер, даже свадьбы устраиваются для французских политических целей.

Все это писалось не из национального шовинизма, который был совершенно чужд Лейбничу, по природе склонному скорее к космополитизму, чем к узконациональной точке зрения. Его слова были красноречивым и справедливым протестом против обезьянничанья, усваивавшего лишь французский покрой платья, в то самое время, когда истинные плоды французской культуры в Германии почти совершенно игнорировались. Даже в области философии декартовские вихри были более известны в Германии, чем аналитический метод, позволивший Декарту совершить крупную реформу не только в философии, но и в точнейшей из наук – математике. Лейбниц поступил как раз наоборот: пренебрегая тем, что так ценили другие, он отправился во Францию с целью почерпнуть здесь запас реальных знаний. Сверх того, у Лейбница была еще и другая цель. От души желая сближения двух культурных наций, германской и французской, находясь в превосходных отношениях с лучшими умами Франции, став почти французским писателем, Лейбниц в то же время всеми силами старался противодействовать завоевательным стремлениям Людовика XVI, подготавливавшим целый ряд международных столкновений, включая даже и войну 1870 года, которая возвратила немцам завоеванную Людовиком Лотарингию. Лейбниц думал, что ему удастся отвлечь внимание французского завоевателя совсем в другую сторону. В только что указанном нами сочинении он пишет: «Франции предназначено быть вождем христианского оружия на Востоке, вести борьбу с противолежащей ей Африкой, уничтожить разбойничье гнезда, наконец, покорить Египет, одну из прекраснейших стран во всем мире». Эта бегло высказанная мысль вскоре была развита Лейбницем в целый «египетский проект», и он ждал только случая представить свой план самому Людовику XIV.

Перед поездкою в Париж Лейбниц побывал еще в Страсбурге, где в то время находился сын Бойнебурга, бывший под попечением профессора Беклера, ревностного поклонника Декарта. Лейбниц имел случай спорить с картезианцем и узнал от Беклера много любопытных сведений о жизни Декарта, в особенности об эпохе пребывания французского философа при дворе шведской королевы Христины. Из Страсбурга Лейбниц возвратился в Майнц по Рейну. Это путешествие произвело на него сильное впечатление: контраст чудной природы, живописных рыцарских замков и городов с тогдашним грустным политическим положением Германии сильно поразил его. Во время этого путешествия Лейбничу пришлось между прочим играть роль третейского судьи в религиозном споре, завязавшемся между его спутниками.

Бойнебург, постоянно выступавший за сближение с Францией, зная из разговоров с Лейбницем о его египетском проекте, счел необходимым послать философа в Париж с важной дипломатической миссией. Чтобы подготовить почву, Бойнебург написал французскому министру иностранных дел Арно де Помпонну письмо, в котором вкратце изложил сущность проекта, приложив к письму и краткую записку Лейбница. 12 февраля 1672 года Помпонн прислал ответ. Он писал, что, по его мнению, автор проекта, несомненно, затеял «нечто великое» и имеющее целью увеличить славу французского короля; но при этом заметил, что в представленной ему записке не указаны средства для достижения цели. «Впрочем, – писал французский министр, – ввиду того, что автор обещает сам явиться для объяснения подробностей своего плана, его величество охотно согласится узнать эти подробности». Из этого письма очевидно, что Людовику XIV было доложено о планах Лейбница, и что они возбудили живой интерес в придворных сферах.

После этого нельзя было более откладывать, и 18 марта того же года Лейбниц, в сопровождении лишь одного слуги, выехал в Париж, заручившись от Бойнебурга рекомендательным письмом к Помпонну. «Вот тот, кого требовал король, – писал Бойнебург, – это человек, который, несмотря на свою невзрачную внешность, отлично может исполнить то, что обещает. Вы постарайтесь, чтобы этот человек жил без всякого шума и треволнений и думал лишь о своем деле; также желательно, чтобы ему возвратили его путевые расходы».

Последнее пожелание довольно характерно: не мешает пояснить, что все расходы Лейбница на путешествие составили сто талеров, данных ему от себя Бойнебургом.

Кроме дипломатической миссии Лейбниц преследовал и чисто

научные цели. Давно уже желал он пополнить свое математическое образование знакомством с французскими и английскими учеными и мечтал о путешествии в Париж и Лондон.

По приезде в Париж Лейбниц, по выражению одного из биографов, «зарылся» в здешних библиотеках и нашел в них массу сокровищ, между прочим, множество редких исторических документов. Конечно, он не упустил из виду и сочинений, относившихся к египетскому вопросу; между прочим им был отыскан проект завоевания Египта, сочиненный одним венецианским писателем, и этим проектом Лейбниц отчасти воспользовался при составлении записки, поданной им на имя короля.

«Франция добивается гегемонии в христианском мире. Наилучшим средством для достижения этой цели является, — пишет Лейбниц, — покорение Египта. Нет экспедиции более легкой, безопасной, своевременной и способной поднять выше морское и торговое могущество Франции. Французскому королю следует взять пример с походов Александра Македонского. С незапамятных времен Египет, древняя страна, полная чудес и мудрости, имела высокое мировое значение. Это значение обнаруживалось много раз в эпоху персидских, греческих, римских и арабских мировых войн. С именем Египта соединены имена величайших завоевателей: Камбиз, Александр, Помпеи, Цезарь, Антоний, Август, Омар — все добивались обладания Нилом. Египет был житницей Римской империи; арабские завоеватели понимали значение этой страны. Обладание Египтом — единственная причина того, что крестоносцы не могли удержаться в Святой Земле, и того, что ислам удержался до сих пор как мировая сила. Во время англо-французского крестового похода один пленный араб предсказал французскому королю, что без обладания Египтом крестовые походы не принесут никакого плода. Трижды пытался христианский мир овладеть Египтом: при Иннокентии III, при Людовике Святом и при кардинале Хименесе. Первая экспедиция не привела к желаемому результату по причине раздоров между христианскими вождями; вторая оказалась неудачною, потому что христиане неосторожно проникли в глубь страны; третья основывалась на непрочной коалиции, рухнувшей со смертью Фердинанда Испанского. Эта мировая задача осталась, таким образом, нерешенною. Единственная христианская держава, которая способна взяться за это дело и довести его до конца, — это Франция. Покорение Египта никогда не было трудным делом, но за него не умели взяться. Теперь, — говорю Лейбниц, — эта экспедиция легче, чем когда-либо. Франция стремится к основанию всемирной монархии. Путем европейских войн она никогда не достигнет этого. Выгода от европейских

войн так ничтожна: каких-нибудь два-три города по Рейну или в Бельгии! Выигранное трудно сохранить, и даже победоносная война наносит огромный ущерб торговле победителей.

То ли дело Египет! Здесь – мировой перешеек, связь между Западом и Востоком, единственный рынок для индоевропейской торговли, страна необычайно плодородная, чрезвычайно населенная, богатая, составляющая путь в Ост-Индию! Египет – это Голландия Востока. Покорить Египет легче, чем Голландию, весь Восток – легче, чем Германию. И ни одна страна не приспособлена к египетской экспедиции лучше, чем Франция. От 4 до 6 недель, – пишет Лейбница, – необходимо для того, чтобы ее флот достиг, выйдя из Марселя, Египта; в Кандии – стоянка; составляются две трети пути; на острове Мальта – прекрасное место отдыха. В Египте наилучший климат, наилучшая в мире вода и смена времени года необычайно правильна, что позволяет заранее рассчитать все стратегические операции».

Таковы руководящие идеи «египетского проекта» Лейбница. Людовик XIV и его министры приняли сочинение Лейбница «благосклонно» и прочли с видимым интересом. Но проницательная французская дипломатия тотчас усмотрела главную тенденцию автора, всеми силами старавшегося отвлечь внимание Франции от европейских столкновений. Этого было достаточно, чтобы усомниться в искренности плана и оценить по достоинству все трудности его осуществления. С Лейбницем обошлись весьма любезно, но король не дал ему аудиенции, и вместо Египта объявил войну Голландии. Некоторое время спустя сам майнцский курфюрст официально предложил Франции, в лице министра Помпонна, проект египетской экспедиции, прямо составленной по плану Лейбница. Помпонн дал характерный ответ: «Не могу ничего сказать насчет планов священной войны, но вы знаете, что такие планы вышли из моды со времени Людовика Святого».

Для осуществления планов Лейбница был необходим не Людовик XIV с его чванливым самодержавием, а гениальный искатель приключений, вроде Наполеона I. В 1798 году Наполеон заставил Директорию начать египетский поход; пять лет спустя в одном английском памфлете было заявлено, что Наполеон знал проект Лейбница, сообщенный Людовику XIV, и вдохновился этим проектом. Тьер и Мишо освятили это мнение своим авторитетом, но оно преувеличено: Наполеон ознакомился с подробностями плана Лейбница не в Париже, а в Ганновере, уже после своего похода. Проект Лейбница чрезвычайно понравился завоевателю как подтверждение его собственных идей. До того времени Наполеон знал о

проекте Лейбница разве только по названию. В известном официальном описании египетской экспедиции имя Лейбница упомянуто с величайшей похвалой.

«Знаменитый Лейбниц, – сказано здесь, – рожденный для всех великих проектов, долгое время занимался этим предметом и подал Людовику XIV обширную рукопись, в которой изложены выгоды покорения Египта». Можно сказать и обратное, что поход Наполеона вывел из-под спуда проекты Лейбница и возбудил к ним живой интерес.

Дипломатическая мания Лейбница не принесла непосредственных результатов; но зато в научном отношении путешествие оказалось чрезвычайно удачным. Знакомство с парижскими математиками в самое короткое время доставило Лейбничу те сведения, без которых он, при всей своей гениальности, никогда не смог бы достичь в области математики ничего истинно великого. Школа Ферма, Паскаля и Декарта была необходима будущему изобретателю дифференциального исчисления. В то время Франция занимала первое место в Европе по развитию языка и литературы. Расин был на вершине своей славы; Мольер еще играл роли в своих бессмертных комедиях, и Лейбничу удалось видеть его однажды на сцене. В области науки и философии французы не уступали англичанам. Во Франции господствовали последователи Декарта и друзья Паскаля. Наконец, в Париже совершенно акклиматизировался один из гениальных математиков всех времен, Христиан Гюйгенс, основатель теории маятника и учения о волнообразном движении. Этот гениальный ум был вполне достоин стать учителем Лейбница, и на первых порах Лейбниц вполне подчинился его руководству. По указанию Гюйгена Лейбниц стал изучать математические письма Паскаля, сочинения Винцентия «О квадрате круга и конических сечениях» и бессмертный трактат самого Гюйгена «О маятнике». В одном из своих писем сам Лейбниц говорит, что после Галилея и Декарта он более всего обязан своим математическим образованием Гюйгенсу. Из бесед с ним, из чтения его сочинений и указанных им трактатов Лейбниц увидел все ничтожество своих прежних математических сведений. «Я вдруг просветился, – пишет Лейбниц, – и неожиданно для себя и других, не знавших вовсе, что я новичок в этом деле, сделал много открытий». Между прочим, Лейбниц еще в то время открыл замечательную теорему, по которой число, выражющее отношение окружности к диаметру, может быть выражено очень простым бесконечным рядом.

Ознакомление с сочинениями Паскаля навело Лейбница на мысль усовершенствовать некоторые теоретические положения и практические

открытия французского философа. Арифметический треугольник Паскаля и его арифметическая машина одинаково занимали ум Лейбница. Он истратил массу труда и немало денег для усовершенствования арифметической машины. В то время, как машина Паскаля совершала непосредственно лишь два простейших действия – сложение и вычитание, модель, придуманная Лейбницием, оказалась пригодна для умножения, деления, возведения в степени и извлечения корня по крайней мере квадратного и кубического. Знаменитейшие философы и учёные Франции – Арно, Гюйгенс, даже друзья Паскаля – восхищались изобретением Лейбница и должны были сознаться, что оно составляет значительный шаг вперед по сравнению с машиной Паскаля. В 1673 году Лейбниц представил модель в Парижскую академию наук. «Посредством машины Лейбница любой мальчик может производить труднейшие вычисления», – сказал об этом изобретении один из французских учёных.

Под влиянием виденного и слышанного сам Лейбниц носился в Париже с бесчисленными планами. То он сочиняет инструмент для «механической квадратуры круга», то придумывает способ определения долгот посреди моря, без помощи светил небесных, причём сознается, что ему «не хватает точного знания об одном-единственном опыте», необходимом для проверки его идеи. Сверх того, Лейбниц мечтает о восстановлении потерянного изобретения Дреббеля, придумывая судно, которое во время бури могло бы погружаться в воду и тем избежать крушения; он придумывает разные оптические снаряды, из которых один имеет целью «измерение перспективы». Из слов самого Лейбница, однако, видно, что большая часть этих проектов так и осталась в области мечтаний, не исключая и плана устройства двигателя, действующего на сжатом воздухе, – вопрос, занимавший Лейбница со времени изобретения воздушного насоса или пневматической машины известным Отто фон Герике, с которым Лейбниц был в переписке.

Благодаря изобретению новой арифметической машины Лейбниц стал иностранным членом Лондонской академии. Последняя, известная под именем Королевского общества, приняла Лейбница в члены через год по вступлении в это общество Ньютона.

Настоящие занятия математикой начались для Лейбница лишь после посещения Лондона. Лондонское королевское общество могло в то время гордиться своим составом.

Такие учёные, как Бойль и Гук в области химии и физики, Рен (Wren), Валлис, Ньютон в области математики, могли поспорить с парижской школой, и Лейбниц, несмотря на некоторую подготовку, полученную им в

Париже, часто сознавал себя перед ними в положении ученика.

По возвращении в Париж Лейбниц разделял свое время между занятиями математикой и работами философского характера. Математическое направление все более одерживало в нем верх над юридическим, точные науки привлекали его теперь более, чем диалектика римских юристов и схоластиков. Контакты Лейбница с Бойнебургом прекратились еще раньше, вследствие смерти Бойнебурга в конце 1672 года.

Оставшись один и почти прекратив, по смерти Бойнебурга: отца, связи с дипломатическими сферами, Лейбниц тем деятельнее предался науке и философии. Изучение сочинений Паскаля сблизило его с деятелями Пор-Рояля, особенно с Арно, с которым он познакомился еще по рекомендации Бойнебурга. Арно был одним из самых выдающихся вождей янсенистского движения, возникшего как отпор иезуитству и составлявшего нечто среднее между кальвинизмом и католичеством. Страстная, порывистая, но узкая и односторонняя натура, Арно нелегко мог ужиться с таким своеобразным и разносторонним мыслителем, каким был Лейбниц. Однажды Арно пригласил к себе Лейбница. Лейбниц застал целое общество янсенистов; разговор, естественно, коснулся разных богословских вопросов. Лейбниц стал доказывать, что нетрудно сочинить молитву, одинаково пригодную для всех монотеистов, будь они христиане, иудеи или магометане. Арно оспаривал это. Тогда Лейбниц сказал, что он сам составил подобную молитву, и тотчас прочел ее. Едва выслушав до конца, Арно воскликнул с необычайной запальчивостью: «Эта молитва никуда не годится, потому что в ней нет ни малейшего упоминания о Господе нашем Иисусе Христе». Лейбниц по природе был вспыльчив, но умел вовремя овладевать собою и, стараясь казаться спокойным, ответил: «В таком случае ваше суждение относится и к молитве „Отче наш“, и ко многим другим, в которых не упоминается о Христе». «Это простое возражение совсем ошеломило добряка Арно», – не без гордости пишет Лейбниц. Вместо ответа Арно предложил гостю выйти вместе с ним погулять на чистом воздухе, чтобы им обоим немного освежиться после того, как он погорячились. С этих пор Арно и Лейбниц всегда оставались в приятельских отношениях.

Глава IV

Открытие дифференциального исчисления. – Знакомство со Спинозой.

В последний год своего пребывания в Париже (1676) Лейбниц выработал первые основания великого математического метода, известного под названием «дифференциальное исчисление». Совершенно такой же метод был изобретен около 1665 года Ньютоном; но основные начала, из которых исходили оба изобретателя, были различны, и, сверх того, Лейбница мог иметь лишь самое смутное представление о методе Ньютона, в то время не опубликованном. Известный трактат Ньютона «Метод флюксий» был написан еще в 1672 году, но появился в печати лишь по его смерти; впервые публика узнала о «флюксиях» Ньютона не из этого трактата, а из первого издания его «Начал», появившегося лишь в 1687 году.

Для определения прав Лейбница необходимо напомнить, что он был в 1673 году в Лондоне, где имел случай познакомиться с различными исследованиями английских математиков, послужившими исходным пунктом для его собственных открытий. По возвращении во Францию Лейбница взялся с удвоенной энергией за изучение математики – сначала под руководством знаменитого Гюйгенса, потом – вполне самостоятельно, ознакомился с работами Паскаля и Ферма – последний ближе всех предшественников Лейбница подошел к открытию аналитического метода, сходного с дифференциальным исчислением.

Факты с достаточной убедительностью доказывают, что Лейбниц хотя и не знал о методе флюксий, но был подведен к открытию письмами Ньютона. С другой стороны, несомненно, что открытие Лейбница по общности, удобству обозначения и подробной разработке метода стало орудием анализа значительно могущественнее и популярнее Ньютонова метода флюксий. Даже соотечественники Ньютона, из национального самолюбия долгое время предпочитавшие метод флюксий, мало-помалу усвоили более удобные обозначения Лейбница; что касается немцев и французов, они даже слишком мало обратили внимания на способ Ньютона, в иных случаях сохранивший значение до настоящего времени.

После первых открытий в области дифференциального исчисления Лейбниц должен был прервать свои научные занятия: он получил приглашение в Ганновер и не счел возможным отказаться уже потому, что

его собственное материальное положение в Париже стало шатким.

На обратном пути Лейбниц посетил Голландию. В ноябре 1676 года он приехал в Гаагу, главным образом, с целью свидания со Спинозой. Еще раньше Лейбниц пытался завести переписку со Спинозой, о котором в то время много слышал как об искусном практическом оптике. Лейбниц придумывал тогда разные системы оптических стекол; в 1671 году он написал Спинозе, спрашивая его мнения. Спиноза ответил чрезвычайно вежливо, но сказал, что присланное ему Лейбницем описание неясно. Переписка прекратилась. Во время пребывания в Париже Лейбниц много слышал о Спинозе, которого большинство французов считало учеником Декарта, зная понаслышке лишь о его «Политико-теологическом трактате». Лейбниц случайно познакомился с тем самым врачом фон ден Энде, который имел дочь-латинистку, бывшую учительницей Спинозы. От него, а также от молодого математика Чирнгаузена, с которым Лейбниц познакомился по рекомендации Ольденбурга, можно было узнать о Спинозе много такого, чего не знали непосвященные. Система Спинозы возбудила чрезвычайное любопытство Лейбница. По натуре он никогда не мог стать учеником Спинозы, но он крайне интересовался его учением и даже просил голландского философа прислать ему в рукописи «Политико-теологический трактат». Спиноза, разумеется, отказал – «по недоверию», как пишет один из биографов Лейбница.

О личных контактах между Лейбницем и Спинозой в Гааге известно немногое. Лейбниц много и часто беседовал с голландским философом, но его собственное миросозерцание успело сложиться настолько, что Спиноза не мог повлиять на него более чем в свое время Декарт.

Основные черты философского учения Лейбница выразились уже в открытом им дифференциальном исчислении и в высказанных еще в Париже воззрениях на вопрос о добре и зле, т. е. на основные понятия морали. Математический метод Лейбница находится в теснейшей связи с его позднейшим учением о монадах – бесконечно малых элементах, из которых он пытался построить вселенную. Другая основная идея Лейбница, учение о мировой гармонии, была выражена им еще в беседах с янсенистами. Лейбниц является в этом случае противоположностью Паскалю, который видел в жизни всюду зло и страдание, требуя лишь христианской покорности и терпения. Лейбниц не отрицает существования зла, но пытается доказать, что при всем том наш мир есть наилучший из возможных миров. Математическая аналогия, применение теории наибольших и наименьших величин к нравственной области дали Лейбничу то, что он считал путеводною нитью в нравственной философии.

Он пытался доказать, что в мире есть известный относительный максимум блага и что само зло является неизбежным условием существования этого максимума блага. Ложна или справедлива эта идея, – вопрос иной, но связь ее с математическими работами Лейбница очевидна. В истории философии учение Лейбница имеет огромное значение как первая попытка построить систему, основанную на идее *непрерывности* и тесно связанной с нею идеи *бесконечно малых изменений*. Внимательное изучение философии Лейбница заставляет признать в ней прародительницу новейших эволюционных гипотез, и даже этическая сторона учения Лейбница находится в тесном родстве с новейшими теориями Дарвина и Спенсера.

Глава V

Переселение в Ганновер. – Лейбниц пропагандирует открытие фосфора. – Пасквиль Бехера. – Горное дело. – Курфюрсты и фюрсты. – «Христианнейший Марс». – «Ada Eruditorum». – Спор о живой силе и количестве движения.

Было время, когда Лейбница задумывался над вопросом, не поселиться ли ему окончательно в Париже. Министры Людовика XIV намекали Лейбничу, что единственным препятствием для поступления его во французскую государственную службу является его религия: стоит принять католицизм, и все будет сделано. Лейбниц был далек от вражды с католицизмом, он даже вынашивал идеи об унии между католиками и лютеранами – но переменить веру ради личных выгод считал позорным. Тем чувствительнее была обида, испытанная им при получении письма от одного из братьев. Родственников Лейбница давно тревожило его отсутствие: он почти не писал им со времени своего переселения в Майнц посланное из Парижа письмо его пропало, и в Лейпциге стали распространяться о Лейбнице самые нелепые слухи. В своем письме брат Лейбница осыпал философа упреками, обвиняя его в желании изменить веру и служить врагам отечества. Лейбниц ответил с достоинством. Он писал, что не может упрекнуть себя ни в чем, что даже в помыслах был честен и все, что делал во Франции, делал для блага своего отечества. Письмо брата, однако, окончательно отклонило его от намерения остаться в Париже. Еще раньше Лейбниц получал несколько раз предложения то в Ганновер, то в Данию. Теперь он решился принять предложенное ему ганноверским герцогом Иоганном Фридрихом место библиотекаря. В Париже, кроме наук, ничто его не удерживало, и положение его становилось щекотливым; с горечью он ответил брату, что не желает иметь вид нищего среди своих французских знатных приятелей и знакомых.

Придворная жизнь не слишком прельщала Лейбница: он не отличался изяществом манер и не мог блестеть в обществе. В ответ на предложение графа Гюльденова, звавшего его в Данию, Лейбниц писал:

«Я чувствую за собою недостатки, имеющие большой вес в большом свете; я часто не знаю светских обычаев и этим порчу первое впечатление, производимое моей особой. Если придают большое значение всем этим вещам и если надо славно пить, чтобы считаться славным человеком, то вы сами знаете, что в таких случаях я не на своем месте».

Ганноверское предложение было принято Лейбницем под давлением обстоятельств. Герцог Иоганн Фридрих познакомился с Лейбницем еще до его путешествия в Париж. Они встретились впервые в Майнце; предварительно Лейбниц написал герцогу пространное письмо, в котором сам себя рекомендовал с самой лучшей стороны. Письмо это любопытно как доказательство того, что еще в то время (1671) Лейбниц составил очерк своего будущего философского учения. Герцог был чрезвычайно доволен чтением письма, что и высказал в своем ответе Лейбничу. Под впечатлением личного свидания Лейбниц обратился к герцогу со вторым письмом, в котором писал о своих настоящих и будущих изобретениях, об арифметической машине и еще не изобретенном новом воздушном насосе. В этом же письме Лейбниц заявляет:

«Я докажу, что причиною всякого движения является дух, что конечною причиною всех вещей является *всемирная гармония*, т. е. божество, что эта гармония не есть причина грехов, но грехи все-таки неизбежны и принадлежат гармонии, подобно тому, как тени оттеняют картину, а диссонансы придают приятность тону».

Учение о монадах также выражено в этом письме:

«Дух есть род центра или точки; он неделим, неразрушим, бессмертен; он есть малый заключенный в одной точке мир, состоящий из идей, подобно тому, как центр состоит из углов».

Лейбниц хочет сказать, что центр шара есть точка, в которой сходятся бесчисленные радиусы, образующие между собою плоские и телесные углы. «Центр неделим, и, тем не менее, угол есть часть центра», – поясняет Лейбниц и добавляет: «Вот геометрическое объяснение природы духа». Объяснение едва ли точное, ибо геометрическая точка не имеет частей и угол не есть часть точки; следовало просто сказать, что в центре шара сходятся бесчисленные радиусы, но видеть в этом объяснение природы духа слишком смело. Это не более чем красивая аналогия. «Точка» Лейбница – это его «микрокосмос», бесконечно малый мир, в котором сходятся все радиусы бесконечно великого шара, «макрокосмоса», являющегося символом вселенной. Математик соединяется в Лейбнице с юристом. Письмо его заканчивается совершенно неожиданным «короллариумом» (следствием): из мировой гармонии и теории монад внезапно вытекает теория европейского мира, основанная на известном «египетском проекте», который, по плану Лейбница, должен был отвлечь внимание Людовика XIV на Восток. Этот последний проект мало заинтересовал ганноверского герцога, который держал сторону Франции против Голландии. Эрудиция Лейбница показалась герцогу, однако, вполне

достаточною для того, чтобы сделать философа своим библиотекарем, историографом и даже придворным. «В минуты отдыха и удовольствия мы весьма охотно будем беседовать с Вами», – писал герцог Лейбницу, предлагая ему постоянную должность за 400 талеров годового жалованья.

Подобно первому покровителю Лейбница, Бойнебургу, герцог Иоганн Фридрих был принявшим католичество лютеранином; да и по характеру он напоминал Бойнебурга, отличаясь умеренностью и религиозной терпимостью. Вскоре по прибытии в Ганновер Лейбниц писал: «Я живу у монарха настолько добродетельного, что повинование ему лучше всякой свободы». По смерти герцога Лейбница отзывался о нем в самых лучших выражениях. Несмотря на внушения некоторых фанатических священников, герцог обращался с жившими в его владениях протестантами настолько справедливо, что на это обратили внимание в Риме, – однако папа высказался в пользу герцога.

Лейбниц привез с собою в Ганновер, сам того не зная, превосходную рекомендацию. Его парижский приятель, янсенист Арно, дал Лейбничу закрытое письмо к герцогу, в котором писал: «Чтобы стать одним из величайших людей нашего века, Лейбничу недостает лишь нашей (т. е. католической) истинной религии». Узнав от герцога о содержании этого письма, Лейбниц впоследствии сознался его преемнику, что знай он, в чем дело, он никогда бы не повез с собою подобной рекомендации.

В числе приближенных герцога, с которыми Лейбничу пришлось часто встречаться и нередко спорить о философских предметах, прежде всего необходимо назвать Николая Стено, личность замечательную в своем роде.

Стено был раньше врачом, анатомом и геологом, отличался умом и познаниями, но, поехав в Италию из-за самого пустякового предмета, не имеющего никакого отношения к теологии, бросил все – науку и философию – и внезапно почувствовал призвание к богословию. Лейбниц рассказывает об этом случае в своей «Теодице»:

«Добряк Стенонис, датчанин, апостолический викарий Ганновера... рассказывал нам, что с ним случилось. Он был великий анатом и весьма знающий естествоиспытатель, но, к сожалению, оставил науку и стал из великого ученого посредственным богословом. Даже о чудесах природы он едва хотел слышать, и понадобилось особое папское повеление для того, чтобы заставить его сообщить результаты его наблюдений, о которых просил г-н Тевено. Этот Стенонис рассказывал нам, что его решимости обратиться (из лютеранства) в католичество более всего способствовало восхищение одной флорентийской дамы, которая закричала ему из окна: „Синьор, идите не в ту сторону, куда вы хотели идти, но в другую“». Этот

голос потряс его, потому что он как раз в ту минуту размышлял о религии. А дело было в том, что он искал кого-то в доме, где находилась эта дама, но шел не туда, куда следует, и она хотела указать ему дорогу в комнату его приятеля».

Достаточно привести эти слова Лейбница, чтобы видеть его трезвое отношение ко всякого рода обращениям, в то время составлявшим явление весьма обыкновенное. Правда, в своей «Теодицеи» он выставил этот пример в доказательство того, что Провидение часто влияет на людей посредством весьма незначительных обстоятельств, не зависящих от воли человека; но было бы напрасно искать в воззрениях Лейбница и тени какого-либо ожесточенного настроения, овладевавшего многими его современниками.

Более интереса представляли беседы с Моланусом, которого Лейбниц называл «несравненным богословом», а также с Эккартом, ревностным последователем Декарта. Эккарт до того был убежден в превосходстве французской философии и науки, что долго не хотел поверить, чтобы Лейбниц, будучи немцем, мог изобрести в философии или в математике что-либо такое, чего не знал Декарт. Однажды в День Пасхи Лейбниц был у Молануса и здесь затеял спор с ним и с Эккартом о декартовском доказательстве бытия Божия. Противники разошлись, нимало не убедив друг друга.

Кроме богословов, Лейбниц имел немало контактов и столкновений с химиками и даже с алхимиками.

Подобно большей части тогдашних монархов, ганноверский герцог интересовался алхимией, и, по его поручению, Лейбниц предпринимал разные опыты. Эти опыты сблизили Лейбница с гамбургским алхимиком Брандтом. Брандт вычитал в какой-то алхимической книге, что из мочи будто бы можно добыть жидкое вещество, посредством которого серебро может быть превращено в золото. Предприняв ряд опытов для проверки этого утверждения, Брандт наконец сделал следующее открытие. Он варил значительное количество мочи, затем подвергал сухой остаток продолжительному накаливанию и с различными предосторожностями, которые мы здесь опускаем, собирая получаемые пары в особый приемник. Результат получился неожиданный: вместо философского камня Брандт нашел вещество, светящееся в темноте, необычайно горючее и ядовитое, названное им фосфором. Свое открытие Брандт сообщил саксонскому коммерции советнику Крафту, а этот последний передал секрет камердинеру саксонского курфюрста Кункелю. Камердинер, подобно коммерции советнику, был страстный алхимик; оба они поехали в Гамбург

к Брандту. Брандт позволил им присутствовать на своих опытах, но ни Крафт, ни Кункель не усвоили всех подробностей процесса. Камердинер, возвратясь домой, взялся за опыты; сначала ему не повезло, и он даже стал жаловаться на Брандта, уверяя, что тот обманул его, но в конце концов Кункель догадался, в чем дело, и стал бесцеремонно выдавать себя за настоящего изобретателя. Крафт не стал сам делать опытов, а разъезжал по всем дворам, стараясь как можно выгоднее продать изобретение. Приехал он и в Ганновер. К чести Крафта надо, однако, сказать, что он сообщил Лейбницу имя настоящего изобретателя. Лейбниц немедленно убедил герцога пригласить Брандта к своему двору. Явившись в Ганновер, Брандт объяснил, в чем дело. Желая повторить опыт в обширных размерах, он попросил содействия герцога и, по совету Лейбница, собрал огромное количество мочи, воспользовавшись для этого лагерными сборами, и целые бочки этой жидкости были употреблены для опытов, что позволило Лейбничу, при повторенных им опытах, добыть весьма значительное количество фосфора. Брандта вознаградили пожизненной пенсиею. Лейбниц послал кусок добытого им по рецепту Брандта фосфора в Париж Гюйгенсу и, сверх того, отправил Чирнгаузену, для передачи в Парижскую академию, статью с описанием способа. Курьезно, однако, что статья озаглавлена: «Отчет о фосфоре, открытом г. Крафтом», хотя Крафт даже сам себя не выдавал за изобретателя.

Другой алхимик, с которым Лейбниц имел Дело, был знаменитый Бехер, основатель теории «флогистона», державшейся в науке до времен Лавуазье. Бехер был человек ученый и весьма талантливый, много занимавшийся не только химией, но и механикой, однако при этом отличался сварливым, завистливым характером и склонностью к сатире. Он долгое время спекулировал алхимией при ганноверском дворе и рассчитывал здесь пристроиться окончательно. С появлением Лейбница Бехер почувствовал, что путь ему отрезан: Лейбниц еще со времени своего знакомства с розенкрейцерами знал настоящую цену философского камня. Бехер ждал случая насолить Лейбничу. Лейбниц, постоянно носившийся с десятками проектов, о которых он рассказывал всем и каждому, сообщил Бехеру свои мысли об усовершенствовании колясок. Этого было достаточно для Бехера, который написал на тему о колясках пасквиль против Лейбница, озаглавленный: «Глупая мудрость и мудрая глупость». В этой брошюре Бехер поднял на смех Лейбница, стараясь скомпрометировать его в германском ученом мире и изобразил философа каким-то авантюристом. Между прочим, как верх «глупой мудrostи» был приведен проект Лейбница «устроить коляску, способную совершить

путешествие из Ганновера в Амстердам за 6 часов». Лейбниц был чрезвычайно раздражен этим пасквилем и, в свою очередь, старался отомстить Бехеру. В пылу полемики Лейбниц не всегда разбирал средства. Так и на этот раз, – он написал герцогу письмо, в котором предостерегал его от Бехера, утверждая, что это – человек, способный клеветать на своих покровителей – явный намек на самого герцога, так как Бехер искал его покровительства. Лейбниц отвергал приписываемый ему Бехером проект; что касается настоящих его планов касательно колясок, Лейбниц ограничился замечанием: «Не знаю, можно ли меня обвинить в глупости, но, во всяком случае, по упомянутому вопросу я нахожусь в хорошей компании; мои мнения разделяют такие мужи, как французский король, затем Гюйгенс и другие ученые».

Проект с колясками, однако, остался на бумаге.

Более серьезное значение имели проекты, представленные Лейбницием герцогу Иоганну Фридриху с целью увеличить производительность герцогских рудников, много страдавших от затоплявшей их воды. «Вы удивляетесь, – писал он одному приятелю, – что за дело мне, государственному мужу, до рудников? Но я давно пришел к мысли, что важнейшую составную частью государственной науки является государственное хозяйство и что невежество, господствующее в этом отношении в Германии, ведет к гибели». Лейбниц энергично взялся за дело и предпринял ряд серьезных геологических исследований Гарца. Усилия его не остались бесплодными для науки – в Германии Лейбниц был первым выдающимся геологом; но с практической стороны результаты были незначительны, главным образом по той причине, что Лейбничу не удалось справиться с рутиной рудокопов и их надсмотрщиков, которые предпочитали работать, как работали их деды. Лейбниц устроил ветряный двигатель, при помощи которого приводил в действие насосы, выкачивавшие воду, однако рудокопы умышленно портили его машины.

В 1679 году Иоганн Фридрих умер, к великому огорчению Лейбница, который был искренне предан герцогу.

Преемник Иоганна Фридриха, Эрнст Август, всегда был противником французской гегемонии, и Лейбнице теперь не стоило труда сговориться с герцогом относительно начал ганноверской политики. В 1683 году подстрекаемая французскими дипломатами Турция объявила войну Австрии. Для Лейбница это было тем чувствительнее, что все его надежды на столкновение Франции с Турцией из-за Египта навсегда рухнули. Лейбниц почувствовал себя оскорблением не только как немецкий патриот, но и как автор египетского проекта. Летом 1683 года турки осадили Вену. В

это самое время Лейбниц написал на двух языках, сначала по-латыни, затем по-французски, замечательный памфлет: «*Mars christianissimus*» («Христианнейший Марс») – сильнейшую политическую сатиру из всех когда-либо направленных против Людовика XIV. Сатира эта была сочинена Лейбницем с ведома и даже, можно сказать, по желанию герцога Эрнста-Августа.

За завоеванием Лотарингии последовало взятие Страсбурга, – зародыш будущей войны 1870 года и новейшей идеи реванша. Турки стояли под стенами Вены, германскому миру грозила опасность с двух сторон, – с запада угрожала французская культура, с юго-востока, – мусульманское варварство. До 1672 года Лейбниц твердо надеялся на наступление благоприятного поворота во французской политике, но с тех пор дела шли все хуже и хуже. Когда министром стал знаменитый Лувуа, последняя тень приличий была отброшена. На германские государства во Франции стали смотреть с нескрываемым высокомерием, можно сказать, с презрением.

«Раньше во Франции были довольны Вестфальским миром, теперь король отказался от всяких обязательств. Новофранцузская политика ничего так не боится, как формулы: *teneatur rex christianissimus* (христианнейший король обязуется). Король ни к чему не должен обязываться, эта формула так же неприятна дипломатам, как освященная вода чёрту. Ведь объявили же французские послы во Франкфурте, что Мюнстерский мир не имеет более значения, а Нимвегенский мир есть великое благодеяние, оказанное французским королем покоренным им странам. Король может объяснить значение оказанных им благодеяний как ему угодно. Король Франции действует не по политическим основаниям, но по своей добной воле. Что касается прав церкви и государства – это всё излишние хитрости, которые, конечно, имеют значение для обыкновенного смертного, но не для такого мужа, каков Людовик XIV. Такие избранные должны во всех мирских делах пользоваться властью, исходящую с небес. Я желаю, – пишет Лейбниц, – освободить короля от всяких ненужных ограничений, и для того постараюсь основать новое учение о праве. Правда, все настоящие юристы будут против меня, но крючкотворы и особенно иезуиты – на моей стороне: последние теперь могут надеяться получить более от французского королевства, чем от испанского.

Основания этого „нового права“ следующие: Бог – правитель вселенной; король Франции – истинный и единственный наместник Бога на земле. Он обладает той божественной властью, которая позволила Моисею повелеть иудеям похитить у египтян золотые и серебряные сосуды и ограбить жителей Ханаана, а папе Александру VI разделить весь Новый

Свет между Испанией и Португалией. Как наместник Бога Людовик XIV необходимо правосуден, а правосудный – сам себе закон, как говорит апостол Павел. В то же время он – могущественнейший из монархов, а что полезно сильнейшему, то справедливо, как заставляет Платон сказать Фразимаха. Ведь недаром бутылочка с миром, которым помазан король Франции, упала с неба! Недаром король Франции, как всему свету известно, обладает чудесным даром излечивать своим прикосновением больных, особенно золотушных.

Священное Писание наполнено пророчествами о новофранцской державе. В Писании сказано: „Посмотрите на лилии, они не прядут“. Неужели не ясно, что речь идет о французских лилиях? Лилии украшают город французского короля, пряжа – работа женщин. Этим пророчеством сказано, что Франция никогда не попадет под иго женщин. Но не надо и древних пророчеств, когда есть достаточно современных чудес. Разве не чудо, что король ведет постоянно войны и все-таки всегда имеет множество денег! Одни думают, что он обладает философским камнем, другие утверждают, что у него на службе состоит домовой. Глупцы! Возможно ли приписывать дьявольской силе то, что совершается по воле Провидения! И как легко все делается: король не трудится, он только забавляется, а дела идут сами собою. В этом и узнается истинный любимец небес, потому что по пословице – „Бог дает своим и во сне“. Недостает только пророка, который объявил бы безумцам, сопротивляющимся королю, что их покарает божий суд. По отношению к христианскому миру Людовик XIV играет ту же роль, какую некогда играл Навуходоносор в мире иудейском. Нет только немецкого Иеремии, который мог бы предсказать немцам гибель. Впрочем, маленький Иеремия нашелся в лице одного немецкого сельского священника, который по Апокалипсису доказал, что все враги Людовика XIV попадут в ад. Не ясен ли перст божий! Всех противников короля постигла кара: Италия страдает от засухи, Голландия гибнет от наводнений, Австрия – от мятежей, а Германская (Римская) империя – от турок!

Итак, пусть народы и государи преклоняются перед волей Провидения. Пусть признают короля Франции своим верховным властелином и судьею, вождем всего христианского мира. Ведь король ведет все войны во славу Божию и для блага церкви! Он завоевал часть Голландии, чтобы угодить епископам кельнскому и мюнстерскому. Правда, его драгуны обошлиесь весьма грубо с жителями епископств кельнского и люттихского, но это произошло против воли короля и притом к общему благу. Король всегда борется за права католиков. Правда, он поддержал в

Венгрии мятежников, хотя они были протестанты, и подстрекал турок против Австрии, хотя турки неверные. Но цель ясна: Австрию надо уничтожить, чтобы Франция стала единственной покровительницею католической церкви, так как только при этих условиях возможно искоренение всякой ереси. Часть германского духовенства уже на стороне короля. Его сторону держат также итальянские дамы, ожидая своего освобождения. Король освободит германское католическое духовенство от ига протестантов, а итальянских жен – от ига их мужей. Но разве может кто-либо противостоять тому, на чьей стороне женщины и духовенство?

В Германии есть множество приверженцев короля. Глупая и завистливая толпа называет их изменниками, но они умны, проницательны и знают, чего требует благо империи. Германская история так чудовищна, так пестра; ей необходим владыка. Германская свобода есть анархия, царство лягушек, ожидающих журавля с неба. Этот журавль – король Франции, его следует благодарить за то, что он соблаговолил пожрать жалкое лягушечье царство. Среди так называемых галло-греков есть, правда, люди, ненавидящие короля страшно, но зато весьма любящие его деньги. Они Иуды Искариоты, воображающие, что сумеют обобрать короля, а потом над ним же посмеются. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Есть и такие галло-греки, которые не могут освободиться от остатка любви к отечеству. Это просто дураки. Ведь нисколько не предосудительно изменить отечеству во славу Божию. В конце концов, что такое отечество? Пустой звук, пугало для идиотов. Правда, под французским владычеством Германия будет самой жалкой страною в мире. Теперь французы презирают немцев за глупость, тогда будут презирать за трусость и подлость. Но что делать! Иго есть испытание, а явное испытание ведет к очищению и спасению. Мы будем злополучны в этом мире, тем блаженнее мы будем на небесах!

Чего еще недостает для довершения нашей жалкой участи? Лотарингия взята, Страсбург захвачен мошенническим, чисто турецким способом, взят посреди мира, без всякого предлога, вопреки торжественным обещаниям. Все юридические доводы в пользу этого завоевания бесстыдны, потому что адвокатам приходится обращаться ко временам Дагобера и Карла Великого. После этого ново-галлы вправе требовать от Рима денег, когда-то обещанных Бренну! Но к чему право? Ведь король Франции выше всякого права. Он генерал-vikarий Господа Бога и не обязан никому отчитываться. Правда, не каждый способен понять великую миссию короля. Простаки не понимают, из-за чего пролиты потоки крови, из-за чего голодают народы. Дело просто: на парижских

воротах должна красоваться золотыми буквами надпись: „Людовик Великий“. Всякие обыкновенные доводы лишаются силы ввиду божественной миссии короля. Он призван к возрождению христианского мира. Можно было бы подумать, что первою его задачею будет сокрушение могущества турок, наследственных врагов христианского мира. Наоборот: он стоит за турок и сражается с голландцами и немцами. Причина понятна, Германия и Голландия близко, Турция далеко. Чтобы покорить турок, надо сначала покорить христианские государства по пути».

Таково содержание этого замечательного памфлета, чрезвычайно важного для полной беспристрастной оценки литературной деятельности Лейбница. С легкой руки Вольтера, осмеявшего оптимизм германского философа, но в то же время отнесшегося к деятельности Людовика XIV с гораздо более оптимистической точки зрения, нежели Лейбниц, составилось понятие о Лейбнице как безусловном защитнике всего существующего, способном восхищаться всяkim злом и видеть в нем необходимую посылку, без которой не может существовать никакое благо. Такому воззрению на Лейбница немало способствовали и его позднейшие последователи и комментаторы так называемой эклектической школы. Стоит познакомиться с «Христианнейшим Марсом», этой язвительной сатирой на политический оптимизм «галло-греков», чтобы убедиться в односторонности подобных суждений о Лейбнице. Если зло играет роль в его системе как *неизбежная* принадлежность наилучшего из возможных миров, каким он считает существующий мир, то из этого вовсе не следует, что учение Лейбница – проповедь пассивного подчинения злу или даже пропаганда «непротивления злу насилием». Можно усматривать в системе Лейбница непоследовательность, можно отвергать ее основные начала, наконец, есть полное основание утверждать, что оптимизм Лейбница чрезмерен. Но, тем не менее, этот оптимизм, не отвергающий сознательного творчества, а исходящий из него, есть стремление к совершенствованию, а не пошлое признание действительности.

Политическая деятельность Лейбница в значительной мере отвлекала его от занятий математикой. Тем не менее, все свое свободное время он посвятил обработке изобретенного им дифференциального исчисления и в промежуток времени между 1677 и 1684 годами успел создать целую новую отрасль математики. Значительное удобство для его научных трудов доставило основание в Лейпциге первого немецкого научного журнала «Acta eruditorum» («Труды ученых»), выходившего под редакцией университетского друга Лейбница Отто Менгера. Лейбниц стал одним из главных сотрудников и, можно даже сказать, душою этого издания. Он

поместил там множество статей по всем отраслям знаний, главным образом, по юриспруденции, философии и математике; кроме того, он печатал здесь извлечения из разных редких книг, рефераты и рецензии на новые научные сочинения и всячески содействовал привлечению новых сотрудников и подписчиков. В первой книге он напечатал свою теорему о выражении отношения окружности к диаметру посредством бесконечного ряда; в другом трактате он впервые ввел в математику так называемые «показательные уравнения»; затем опубликовал упрощенный способ вычисления сложных процентов и пожизненных рент, и т. д.; наконец, в 1684 году Лейбниц напечатал в том же журнале систематическое изложение начал дифференциального исчисления. Все эти трактаты, особенно последний, опубликованный почти тремя годами раньше появления в свет первого издания «Начал» Ньютона, дали науке такой огромный толчок, что в настоящее время трудно даже оценить все значение реформы, произведенной Лейбницем в области математики. То, что смутно представлялось умам лучших французских и английских математиков, исключая Ньютона, обладавшего своим методом флюксий еще с 1666 или даже с 1665 года, стало вдруг ясным, отчетливым и общедоступным, чего нельзя сказать о гениальном методе Ньютона. В самое короткое время все тогдашние лучшие математики, за исключением английских, которые предпочитали способы, данные Ньютоном, усвоили новый метод и с помощью его стали решать задачи, считавшиеся прежде необычайно трудными и даже неразрешимыми. Кроме вопросов чистого анализа, новый метод оказал огромные услуги в геометрии и механике. В области механики Лейбница при помощи своего дифференциального исчисления легко установил понятие о так называемой «живой силе», и эти его исследования послужили началом многолетней полемики, которую он вел при поддержке некоторых первоклассных математиков против школы Декарта.

Спор принял чрезвычайно оживленный характер, и ученые разделились на два лагеря: одни стояли за Декарта, другие – за Лейбница. Лишь в конце XVIII века д'Аламбер решил, что обе стороны правы и неправы и что спор идет «о словах». Тем не менее, взгляды Лейбница привели к установлению теоремы, которая стала основанием всей динамики. Теорема эта гласит, что приращение живой силы системы равно работе, произведенной этой движущейся системой. Зная, например, массу и скорость падающего тела, мы можем вычислить работу, произведенную им во время падения.

Глава VI

История династии Вельфов.— Научное путешествие Лейбница.— Полемика с Пелисоном и Боссюэ.— Опасное приключение.— Пребывание в Риме.— Новая система исчисления.— Теория естественного права.

Вскоре по вступлении на ганноверский престол герцога Эрнста Августа Лейбниц был назначен официальным историографом ганноверского дома. Лейбниц сам навязал себе эту работу, в чем впоследствии имел случай раскаяться.

Лейбниц взялся за труд самым добросовестным образом. Он начал с обьезда тех немецких земель, где некогда господствовали Вельфы. Прежде всего Лейбниц отправился в Южную Германию, посетил Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг. Во Франкфурте он познакомился с одним из знаменитейших лингвистов того времени, Иовом Людольфом (этот Людольф впоследствии нередко исправлял слог немецких сочинений Лейбница). Людольф был первый из европейских ученых, изучивший эфиопский язык. Этот ученый предложил Лейбничу основание немецкого исторического общества (*collegium historicum*), имевшего целью собирание и издание всякого рода памятников и хроник. План этот чрезвычайно заинтересовал Лейбница, он обещал свое содействие; мало того, под впечатлением этого предложения в уме Лейбница зародился еще более широкий план основания немецкой академии наук.

Из Мюнхена, где Лейбничу удалось найти самые интересные и достоверные документы о генеалогии брауншвейгского дома, он писал герцогине Софии, сопровождая свой рассказ разными анекдотами и происшествиями, и между прочим о том, что его поразил иезуит, произнесший проповедь на тему, взятую из одной до тех пор ему неизвестной народной книжки «*Simplicissimus*». Письмо это любопытно как доказательство того, как мало интересовался Лейбниц тогдашней беллетристикой: названная им книжка была чуть ли не популярнейшим немецким романом XVII века, а Лейбниц вообразил, что это народная сказка или гаданье царя Соломона.

Кроме вопроса о происхождении брауншвейгского дома, Лейбничу было поручено еще одно дело: он, где возможно, зондировал почву для подготовки церковной унии между протестантским и католическим миром. Ганноверский двор был особенно склонен к этому проекту, в то время бродившему в умах. Тридцатилетняя война показала, какое глубокое

унижение должна была испытать Германия благодаря своей политической и религиозной жизни. Идея политического единства росла параллельно с планами церковной унии. В Ганновере этому проекту способствовали семейные обстоятельства: вдова обратившегося в католичество Иоганна Фридриха была ревностная католичка, царствующий герцог Эрнст Август – лютеранин, его жена София – кальвинистка. Герцог и жена его отличались веротерпимостью. Политические обстоятельства примешивались к религиозным. До Нимвегенского мира Эрнст Август был противником Людовика XIV; с этих пор наступает кругой перелом, и тот самый герцог, который покровительствовал Лейбницу как автору «Христианнейшего Марса», теперь искал случая сблизиться с Людовиком XIV. Идея церковной унии все больше привлекала его как одно из лучших средств сблизиться с Францией. Герцогиня София, одна из образованнейших женщин своего времени, значительно влиявшая на мужа, считала Лейбница наиболее подходящим деятелем, способным совершить эту великую церковную реформу. Как большая часть тогдашних высокопоставленных лиц, София получила почти французское воспитание; она прекрасно писала по-французски, впрочем, так же и по-латыни и еще на нескольких языках, и была во многом сходна с тогдашними французскими учеными дамами. Она была не так серьезно образована, как ее старшая сестра Елисавета Богемская (ученица Декарта), но превосходила сестру самостоятельностью ума и здравым смыслом. Француз Шевро так увлекся ею, что назвал герцогиню первым «прекрасным умом» своего времени. Как высоко ценила герцогиня Лейбница, видно из ее писем. В одном письме она пишет философу по поводу его новогоднего приветствия: «Ваши поздравления для меня приятнее поздравлений королей». Герцогиня доверила Лейбнице умственное воспитание своей единственной дочери, также Софии, впоследствии жены бранденбургского курфюрста и первой прусской королевы. О церковной унии герцогиня также переписывалась с Лейбницем. «Христос рожден женщиной, – писала она, – и, быть может, женщине суждено объединить две церкви».

Ганновер был с лютеранской стороны центральным местом, откуда исходили проекты унии: герцогиня София, Лейбниц и картезианец аббат Моланус должны считаться главами этого движения. Во время пребывания Лейбница в Ганновере между ним и аббатом в присутствии герцогини часто велись длинные препирательства и беседы на религиозно-философские темы. По утрам обыкновенно герцогиня гуляла в своем Герренгаузенском саду с придворными, и здесь светские разговоры перемешивались с обсуждениями самых отвлеченных вопросов религии и

философии. Нередко придворные спорили между собою и избирали Лейбница третейским судьею. Он отличался беспристрастием. Однажды аббат Моланус пытался доказать по Декарту бытие Божие. Герцог и герцогиня сочли его доказательства малоубедительными и обратились к Лейбничу. «Надеюсь, Вы, как друг, меня не выдадите», – сказал аббат Лейбничу, но последний решил, что доказательства аббата весьма слабы. Нет никаких сомнений в том, что во время таких прогулок Лейбниц нередко излагал основные начала своей философии. Однажды, опровергая мнения английского богослова Самуила Кларка, Лейбниц отстаивал теорию индивидуальности. Кто-то из придворных заметил, что Кларк совершенно прав и что действительно в природе нетрудно указать примеры двух и более индивидуумов, совершенно неразличимых между собою. Лейбниц оспаривал это. «Вот, например, – сказал он, – я утверждаю, что из многих миллионов листьев в этом саду нельзя найти даже двух, совершенно одинаковых». «Попробуем», – сказала герцогиня, и тотчас придворные принялись срывать древесные ветки с листьями, с помощью садовников нанесли огромные корзины листьев и начали сравнивать, подыскивая два совершенно одинаковых листа. Лейбниц без большого труда указывал различия, которых не замечали другие.

Мысль об унии занимала Лейбница уже потому, что его собственные взгляды стояли выше тех религиозных споров, которые велись между католиками и протестантами. По его собственным словам (в одном из писем к герцогу Эрнсту Августу), он ценил в римской церкви ее традицию, но не мог согласиться с ее догматическими основами, во многом противоречащими разуму.

С разных сторон были сделаны попытки обратить Лейбница в католицизм: мы уже упоминали о стараниях парижских янсенистов и придворных Людовика XIV. Теперь, когда Ганновер взял на себя инициативу унии, многие католические проповедники сочли своей миссией «обратить» ганноверского философа. Особенно любопытны старания сестры герцогини, монбюиссонской аббатисы, которая прислала свою доверенную Бринон в Ганновер специально для того, чтобы «обратить» герцогскую чету и Лейбница. Лейбниц был в дороге, и герцогиня написала ему о Бринон: «Это – монахиня, которую считают чрезвычайно умной. Ее красноречие необычайно, потому что она говорит без умолку». Об этом эпизоде не стоило бы упоминать, если бы за спиной аббатисы не стоял первый тогдашний богослов Франции, знаменитый Боссюэ, с которым Лейбниц впоследствии вступил в переписку. То же Монбюиссонское аббатство сблизило Лейбница с известным Пеллиссоном, который из

кальвиниста стал рьяным католиком и с назойливостью ренегата пытался заставить других последовать своему примеру.

В самом Риме были голоса за и против унии. Во время своего путешествия (1687—1690) Лейбниц посетил в Вене епископа Нейштадтского. Епископ показал ему документы, из которых Лейбниц убедился, что сам папа, многие кардиналы и генералы орденов, в том числе генерал иезуитов, были чрезвычайно расположены к унии. Когда Лейбниц прибыл в Рим, он на месте легко убедился, что итальянский кардинал Спинола де Лука был ревностным сторонником унии, тогда как французский кардинал д'Эстрэ и слышать не хотел о ней, — во Франции незадолго перед тем был издан варварский Нантский эдикт, имевший целью искоренить гугенотов. Во время путешествия Лейбница Людовик XIV начал новую войну против империи, якобы с религиозной подоплекой, а французские богословы в свою очередь затеяли поход с целью доказать превосходство католицизма.

Бывший кальвиnist Пеллисон наметил издать книгу «О религиозных различиях», в которой выставил католицизм как «утверждение» веры, а протестантизм — как «отречение» ее. По уверению Пеллисона, вера невозможна без авторитета церкви, а авторитет непогрешим. Протестантизм есть отрицание веры, это не религия, а индифферентизм. Это сочинение было передано аббатисой монбюиссонской в Ганновер, — аббатиса была в родстве с герцогским домом. Лейбниц написал свои «замечания», которые через монахиню Бринон передал Пеллисону. Замечания эти любопытны: это чуть ли не первая (в Германии) красноречивая защита начала *религиозной терпимости*. Лейбниц смело и открыто защищает вполне гармонирующий с его философией принцип индивидуального, субъективного убеждения, который он противопоставляет внешнему принудительному авторитету. Два года (1690—1692) продолжалась переписка Лейбница с Пеллисоном и прервалась лишь смертью Пеллисона.

Не менее любопытны отношения между Лейбницем и крупнейшим из французских богословов Боссюэ.

Чтобы оценить их переписку, надо вернуться несколько назад.

Еще янсенист Арно пытался убедить Лейбница в превосходстве католической веры и специально для него написал трактат, озаглавленный: «Будильник для моего дорогого Лейбница». В то время Лейбниц был еще очень молод, но не поддался заманчивым аргументам своего друга. Позднее за ту же задачу взялся ландграф Гессен-Рейнфельзский, написавший Лейбничу, что носятся слухи об его обращении. Лейбниц

ответил: «Молва ошибается, но только наполовину». «В таких вещах не может быть половины», – отвечал ландграф. Лейбниц возразил на это: «Я принадлежу церкви не внешним, а внутренним образом». Слова эти были плохо поняты: многие уверяли, что Лейбниц – тайный католик; но он сам решительно опровергал это, и даже указывал прямо на несимпатичные ему стороны католической церкви, в особенности на богословскую цензуру и на преследование научных теорий, как, например, системы Коперника. Лейбниц пишет ландграфу:

«Существуют многие философские мнения, которые, по моему убеждению, я способен доказать; при моем образе мыслей, мне невозможно изменить их, пока нет средств удовлетворить меня иначе. Между тем мои мнения, хотя они, сколько мне известно, не противоречат ни Писанию, ни Преданию, ни соборам, сплошь и рядом подвергаются порицанию и даже осуждению некоторых богословов. Скажут, что я могу просто молчать о таких вещах. Но молчать не годится: эти предложения чрезвычайно важны для философии... Охотно сознаюсь, – заключает Лейбниц свое письмо, – что я всевозможнаю ценою готов был бы к общению с римской церковью, если бы только мог сделать это с истинным спокойствием духа и чистой совестью, какую имею теперь».

Неудивительно, что, прочитав это письмо, ландграф понял бесплодность своих попыток и произнес изречение св. Иеронима: «Кто бы он ни был, он не наш».

Свои собственные взгляды на возможность унии Лейбниц изложил в сочинении «Способы воссоединения» (1684). Здесь он пытается доказать, что принцип протестантизма нимало не противоречит принципу католичества, понимаемому как признание единства и вселенского характера церкви. Вместе с тем он выступает в роли решительного борца за начало религиозной терпимости.

По словам Лейбница, осуждение, анафема и отлучение от церкви – меры несправедливые и нецелесообразные. Церковь должна своим авторитетом и знанием исправлять заблуждение, а не карать их.

Что касается взаимных уступок со стороны протестантов и католиков, то, по мнению Лейбница, протестанты должны признать единство и вселенский характер церкви, вследствие чего предлагает им признать главенство папы и значение вселенских соборов; но, с другой стороны, католики должны уступить протестантам по вопросу о браках священников, о причащении мирян под обоими видами и об употреблении в богослужении народного языка.

С такою программой выступил Лейбниц еще до начала своей

богословской переписки с Боссюэ. Правда, они еще раньше переписывались, но по вопросам иного рода. Начал переписку Боссюэ, обратившись к Лейбницу как библиотекарю с вопросом, не может ли он указать хороший перевод Талмуда. Получив обстоятельный ответ, Боссюэ затем послал Лейбницу свое одобренное папою «Изложение католической веры». Прочитав эту книгу, Лейбниц написал автору, что считает ее полезною для восстановления церковного мира. Лейбниц и ганноверский аббат Моланус затем неоднократно писали Боссюэ. Французский богослов высказал свою точку зрения на унию. Он рассматривал унию как обращение протестантов на путь истины и требовал прежде всего признания ими решений Тридентского собора. «Гармонические» попытки Лейбница имели мало общего с требованиями Боссюэ. Лейбниц хотел убедить французского богослова, что католицизм и протестантизм не более чем различные мнения, могущие отличным образом ужиться под кровом одной вселенской церкви. «Если один император воюет с другим, это еще не есть война против монархического принципа». Боссюэ требовал безусловного подчинения со стороны протестантов и в конце полемики заявил, наконец, вполне откровенно, что, по его мнению, всякий, не признающий обязательным решения Тридентского собора, есть упорный еретик. Продолжать спор на этой почве было нелегко, и Лейбниц умолк на время, сказав только в одном из своих писем к болтливой монахине Бринон: «Жаль, что Боссюэ оставил деловой тон; было бы лучше, если бы он обсуждал вопрос не как оратор, а как бухгалтер». Лишь несколько лет спустя Лейбниц возобновил переписку с Боссюэ, с целью опровергнуть доводы, к которым прибег Тридентский собор, объявивший некоторые апокрифы каноническими книгами. Боссюэ ответил несколько высокомерным письмом, в котором привел 26 доказательств; Лейбниц возразил, и переписка затем прекратилась; Лейбниц потерял охоту продолжать ее. Да и вообще к этому времени, т. е. в последние годы XVII века и первые годы XVIII, Лейбниц сильно разочаровался в своих унионистских проектах. Он писал герцогу Антону Ульриху: «Было бы гораздо лучше, если бы за это дело взялись не богословы и не духовенство, а государи и дипломаты». Лейбниц сознался, что в настоящем нечего надеяться на воссоединение и что, в лучшем случае, можно заставить римскую церковь высказаться, что полезно для будущего. «А это и было моей целью во всем этом деле», – пишет он.

Любопытно, что впоследствии многие католические писатели пытались доказать, будто Лейбниц тайно обратился в католицизм: ссылались на его сочинение «Теологическая система», которое долго

оставалось неизвестным публике. В начале нашего века этот труд был напечатан: в нем много терпимости к католицизму, и весь он написан с явной целью облегчить дело унии, но нет и признака ренегатства. Впрочем, уже из писем Лейбница к Боссюэ, сильнейшему из его католических противников, легко понять, как далек был Лейбниц от желания подчинить протестантизм папизму. В одном из писем он говорит:

«Ничто не служит таким блестательным оправданием для реформации, как признания многих хороших католических писателей, которые одобряют состояние умов, вызванное протестантизмом, так как раньше верующие были окружены терниями и подавлены мелочами, отклоняющими от добродетельной жизни и от истинной теологии. Эразм и многие другие признавали необходимым возвращение человечества к учению апостола Павла; лишь форма, а не сущность реформы Лютера не нравилась ему».

Подобный характер имеет большая часть аргументов, приводимых Лейбницем. Боссюэ не удовлетворяли эти возражения, а обнаруженная Лейбницем огромная эрудиция даже сердила его. «Это – честолюбец, вмешивающийся во все и нарушающий права теологов», – писал о нем Боссюэ. Со своей стороны Лейбниц называл Боссюэ человеком несносного характера и склонным к хандре. Когда французское духовенство сочло необходимым выступить против созданной Мольером комедии и Боссюэ издал свое знаменитое сочинение, направленное против театрального искусства, Лейбниц написал на французском языке стихотворную эпиграмму на «докторов антикомедиантов». «Суровые управители, знаете ли вы, что в наш век Мольер также поучает, как и вы вашими уроками? Для того, чтобы реформировать Францию, надо либо комедию, либо драгунов».

Аскетические и иерархические идеалы Боссюэ, без сомнения, нередко задевали комическую жилку, которая была достаточно развита у Лейбница, по натуре веселого и склонного к жизнерадостному миросозерцанию. Он писал однажды ганноверской герцогине Софии:

«Не мешало бы во Франции основать „Вестник набожности“ или „Богословский Меркурий“. Если Меркурий чересчур напоминает язычество, можно вместо него поставить хоть Рафаэля. Ханжество в последнее время стало придворной модой; пример – некий маркиз Сантонас, которого обратил на путь истины, кто бы вы думали? Буало!»

Летом 1688 года Лейбниц приехал в Вену. Кроме работы в здешних архивах и в императорской библиотеке, он преследовал и дипломатические, и чисто личные цели. Поворот, произошедший в политике Ганновера, не мог понравиться в Вене, да едва ли был по душе и самому Лейбничу. Со

времени Нимвегенского мира ганноверский герцог формально держал сторону Франции; герцогиня даже писала философу, что не знает, хорошо ли его примут в Вене. Лейбниц ответил: «Союз с Францией мог бы принести пользу, если бы послужил к возвращению герцогу Гольштинскому его владений, отнятых Данией: за достижение такого результата вся империя была бы благодарна Ганноверу». Ганноверский герцог старался одновременно угодить Франции и императору и хотел через посредство Лейбница повлиять на венский двор; герцогиня, в свою очередь, хлопотала за своего сына, желая, чтобы император поскорее произвел его в генералы. Лейбниц оказался искусным дипломатом, тем более, что в душе желал сблизить Ганновер с Австрией; к этому отчасти поощряли блестящие победы имперских войск над турками. Во всем немецком мире эти победы возбудили надежду на окончательное сокрушение турецкого могущества, и Лейбничу казалось, что Австрия исполнит роль, которую он хотел навязать Франции своим египетским проектом. С большим интересом познакомился он к этому времени с планами ученого-филолога Людольфа, который до того увлекся изучением эфиопских древностей, что счел Абиссинию призванной играть роль цивилизующего элемента в Африке и проектировал союз христианских держав с абиссинским негусом с целью изгнания турок из Египта. Лейбниц был не прочь поддержать этот план в Вене; он же взялся расположить императора в пользу задуманного Людольфом исторического общества. Египетский проект Людольфа как в воду канул; что касается исторического общества, приближенные императора одобряли план, но объявили, что нет возможности платить членам общества жалованье, чего добивался Лейбниц. Еще продолжались ликования по случаю побед над турками, как вдруг Людовик XIV снова объявил империи войну, захватил Филиппсбург и опубликовал манифест, в котором прославлялась любовь короля Франции к европейскому миру. На этот документ последовал ответный манифест императора: многие биографы Лейбница утверждают, что философ написал латинский текст этого манифеста. Проверить это утверждение трудно, но взгляды Лейбница на новую войну достаточно выяснены в написанном по-французски мемуаре, который он вручил министрам императора. Здесь поведение Франции подвергается самому строгому осуждению.

«Нет договора, который не был бы нарушен Францией, – пишет Лейбниц. – Нападение на испанские Нидерланды после решительного отказа от притязаний, война с Голландией без тени основания. Нимвегенский мир, нарушенный так же скоро, как и заключенный: все это кажется недостаточно преступным после того, как были совершены еще

большие преступления. Секрет сделать мерзкие вещи внешне прекрасными состоит в том, что подле них ставят вещи еще отвратительнее; так уродливые женщины держат подле себя обезьян или негров».

О завоеваниях Людовика XIV Лейбниц замечает:

«Говорят, что и Франция не может обойтись без Страсбурга и Люксембурга: эти города будто бы необходимы королю для безопасности его державы. Другими словами: чтобы лучше сохранить похищенное у Германской империи, надо похитить еще более. Превосходное основание! Так одно безумие порождает множество безумий и одно преступление – множество преступлений. Аппетит приходит во время еды!»

Из планов Лейбница, занимавших его во время пребывания в Вене, осуществился лишь проект основания исторического общества. По договору с Людольфом, он лично беседовал об этом деле с императором Леопольдом I. Первым председателем «Императорского исторического общества» был Людольф. Впрочем, Лейбниц преследовал и свои личные планы. Давно уже он задумывался над мыслью поступить на службу к императору. В Ганновере ему казалось слишком тесно, особенно после того, как Эрнст Август стал держать сторону Людовика XIV. Написанный Лейбницем новый памфлет, направленный против французской политики, произвел на императора Леопольда такое впечатление, что он сам предложил Лейбничу через своего министра двора место библиотекаря. Предложение было заманчиво, но Лейбниц чувствовал себя связанным до тех пор, пока не исполнил обещания, данного брауншвейгскому дому, то есть пока не восстановил генеалогии Вельфов, – а для этого надо было ехать в Италию. Лейбниц просил дать ему время подумать: впоследствии он раскаивался в своем поступке, потому что удобный момент был упущен навсегда.

Лейбниц собирался уже возвратиться в Ганновер, как вдруг получил известие, что герцог Моденский предлагает ему воспользоваться своим домашним архивом. Лейбниц знал уже по своим предыдущим исследованиям, что этот архив для него особенно важен. Сверх того, мысль о поездке в Италию не могла не привлекать его. Весну 1689 года Лейбниц посвятил этому путешествию, из которого вынес многое. Он посетил Венецию, Модену, Рим, Флоренцию и Неаполь.

В Венеции с Лейбницем произошло приключение, едва не стоившее ему жизни, – его спасло лишь уменье притворяться, обнаруженное им еще в молодости во время знакомства с розенкрайцерами. Лейбниц поехал один в Мезолу на баркасе с несколькими итальянскими матросами. Внезапно началась буря. Суеверные матросы стали говорить между собою, что Лейбниц – еретик и что Бог наказывает их, посылая бурю. Думая, что

немец не знает по-итальянски, кормчий сказал товарищам: «Надо бросить этого еретика в воду, только сначала возьмем у него деньги». Лейбниц не растерялся. Он тотчас достал из кармана бывшие при нем четки, состроил самую набожную физиономию и стал перебирать их с видом молящегося. Увидев это, гребцы сказали кормчему: «Нет, такого хорошего христианина грешно бросать в воду».

В Риме Лейбниц был свидетелем многих событий. Почти на его глазах умерла знаменитая королева Христина Шведская, ученица Декарта, в конце жизни обратившаяся в католицизм. Лейбниц имел возможность осмотреть ее библиотеку, картинную галерею и собрание статуй. При нем умер папа Иннокентий XI и вступил на престол св. Петра папа Александр VIII. Пребывание в Риме вновь оживило в уме Лейбница проект церковной унии. Обоим папам он посвятил латинские стихотворения, – Лейбниц считал себя крупным поэтом и ни за что так не гневался на Боссюэ, как за то, что французский богослов отозвался довольно пренебрежительно о его поэтических упражнениях. По случаю болезни Иннокентия XI Лейбниц написал стихи, в которых молил небеса о даровании папе здоровья для окончания великого дела соединения церквей, причем заставил «подземных богов» дрожать от страха. Когда явился Александр VIII, Лейбниц приветствовал его как грядущего освободителя христианского мира от турок. В своей вычурной оде, написанной, впрочем, во вкусе того времени, Лейбниц сравнивал папу с Александром Македонским.

В Риме Лейбница приняли с большим почетом. Всевозможные ученые общества принимали его на свои заседания, многие избрали своим членом. Секретарь папы, знаменитый антикварий Фабретти, показывал ему христианские катакомбы и хранившуюся в сосудах запекшуюся кровь мучеников. Лейбниц, впрочем, выразил некоторое сомнение относительно подлинности этой крови и сказал, что, быть может, это особый род красной глины. Чтобы убедить его в противном, Фабретти велел принести теплой воды и растворить в ней твердое вещество, которое в растворе приняло вид крови. Католические писатели уверяют, что философ был убежден этим доводом и благоговейно удалился; но весьма вероятно, что тут играло роль дипломатическое искусство Лейбница, который приехал нессориться, а мириться с католиками и считал вопрос о действительной или мнимой крови не стоящим внимания.

При всей своей склонности к компромиссам Лейбниц не упускал случая выступить за свободу совести и в особенности за свободу научной мысли, – в этом отношении Лейбниц был одним из первых философов, создавших тот дух свободы исследования, которым гордится немецкая

наука. Во время пребывания в Риме он несколько раз убеждал астрономов и математиков, например, Бьянкини и Вивиани, сделать представления папе по поводу остававшегося еще в силе запрещения системы Коперника. Лейбниц советует выставить на вид папе, что от подобных запрещений теряет только римский престол. «Важно пристыдить клеветников, — дипломатично пишет он, — которые утверждают, будто Рим — враг истины». С этими мыслями знаменитого философа связан курьезнейший из его проектов, а именно план превращения католических монастырей в род университетов, где преимущественно должны изучаться естественные науки. «Столько умных голов, до сих пор занимавшихся пустословием, — пишет Лейбниц, — могут сделать чрезвычайно многое, если соединятся для изучения славы Божией, проявляющейся в явлениях природы». Узнав, что один фанатичный аббат предлагал вовсе упразднить науку, Лейбниц писал: «Это предложение понравится каждому ленивому брюху, но его, конечно, не одобрят ученые люди. Разве есть занятие более сообразное с настоящим благочестием, чем изучение природы?»

Лейбничу стоило только оглянуться вокруг себя, чтобы найти в Италии монахов, занимавшихся наукой; особенно благоприятствовали научным занятиям иезуиты, что не мешало им пользоваться самим знанием для своих особых целей. Предложение его относительно католических монастырей показывает, однако, как он способен был увлекаться своими проектами, часто стоявшими весьма далеко от практической жизни.

На римских ученых и на папский двор Лейбниц произвел такое благоприятное впечатление, что сам папа, через кардинала Козакоту, предложил ему должность хранителя ватиканской библиотеки. Эта должность была для Лейбница находкой, но ему поставили условием принятие католической веры. Лейбниц отказался и устоял перед искушением, которое оказалось в новейшие времена магическое действие на Винкельмана. Сам Лейбниц писал впоследствии об этом событии своей жизни, заметив при этом, что должность библиотекаря в Ватикане не раз доводила до кардинальской митры.

Из ученых, с которыми Лейбниц познакомился в Риме, особенное впечатление произвел на него иезуит Гриимальди, недавно возвратившийся из Китая.

В конце XVII века неприглядная европейская действительность заставляла многих мыслителей искать идеалов частью у дикарей, частью у цивилизованных народов Дальнего Востока. Китайцы были особенно в моде благодаря попыткам реформ, предпринятым тогдашним императором, который ценил европейскую науку, изучал Евклидовы «начала» и

тригонометрию, приблизил к себе европейских астрономов и математиков и покровительствовал ученым иезуитам. Еще раньше, до знакомства с Гриимальди, Лейбниц интересовался Китаем и в одном из своих писем, желая похвалить Францию, назвал ее «Китаем Запада».

Просветительная деятельность императора Хам-Хи, обрисованная иезуитом и в то же время китайским мандарином Гриимальди, привела Лейбница в восторг. Он отнесся к китайскому реформатору почти так же, как впоследствии к Петру Великому. Свои впечатления Лейбница изложил в особом сочинении о Китае («*Novissima Sinica*», 1697). Между прочим он узнал от Гриимальди о древнем китайском исчислении, отличавшемся от нынешнего, и сообщения ученого иезуита навели его на мысль придумать новую арифметику, в которой достаточно лишь двух цифр: 1 и 0. Это так называемая «двоичная» или «диадическая» система исчисления, в которой две единицы играют такую же роль, как десять единиц в нашей десятичной системе. Лейбничу так понравилась эта система, что он усмотрел в ней даже нечто мистическое или символическое, хотя по натуре мало был склонен к мистике. По его мнению, «двоичная» система есть символ творческого акта, *imago creationis*, потому что она показывает воочию, что единица или «монада», играющая основную роль во всей философии Лейбница, достаточна для построения вселенной: стоит комбинировать единицы и нули (изображающие отсутствие бытия), чтобы получить всевозможные числа. Позднее Лейбниц, находясь уже в Вольфенбютtele, написал о своем изобретении герцогу Рудольфу Августу, прося его выбрать по этому поводу медаль с тем, чтобы на одной стороне было изображение герцога, на другой – таблица с изображением нескольких чисел и простейших действий по новой системе. На краю медали была изображена лента с надписью: «Чтобы вывести из ничтожества все, достаточно единицы». Лейбниц понимал, что его изображение имеет главным образом *теоретическое* значение, позволяя исследовать разные свойства чисел; впрочем, он думал, что и на практике считать по его системе не так трудно, как может показаться от непривычки к подобному счету.

Кроме чисто математического интереса, Лейбниц видел в своем исчислении ключ к разгадке таинственной китайской азбуки, изобретенной Фоги и содержавшей 64 буквы; мнение это было поддержано многими тогдашними ориенталистами.

Не следует, однако, думать, что Лейбниц вполне разделял увлечение Китаем, своеобразное многим его современникам. Любопытно, что он отлично понял сравнительную отсталость китайской науки, но в то же время полагал найти в Китае источник истинной нравственности,

предварив в этом случае на много лет «Суратскую кофейню» графа Льва Толстого. Полушутя, полусерьезно Лейбниц пишет: «Почти необходимо, чтобы китайцы посыпали в Европу миссионеров. Мы можем сообщить им наше богословие, основанное на откровении; зато китайцы могут снабдить нас началами естественной теологии». Интересны также мнения Лейбница о деятельности иезуитов в Китае. «Между иезуитами, – пишет он, – есть, без сомнения, много честных людей. Иные слишком горячи и желают служить ордену правдами и неправдами». Лейбниц был наказан за свою терпимость, переходившую иногда границы благоразумия. Когда он приехал во Флоренцию, иезуит Маркетто пристал к философу, чтобы он принял католичество, угрожая за ослушание муками ада. Тогда только Лейбниц стал относиться к иезуитам более сурово и сказал: «В Китай все-таки их следует посыпать, потому что лучше преподавать китайцам искаженное христианство, чем никакого». Это плохо мирится с его предложением учиться естественному богословию у китайцев.

Юридические, богословские и дипломатические занятия в значительной мере отвлекли его от математических работ. Тем не менее все свое свободное время Лейбниц посвящал математике и естествознанию. Еще из Вены он предпринял экскурсию в Венгрию, куда его привлекли шахты, где он мог проверить свои гипотезы о составе земной коры; из Венеции он ездил в Истрию и здесь, по его собственному выражению, «прополз сквозь горы». Плодом этих исследований была его «Протогея», одна из первых попыток основать научную геологию.

В области математики Лейбниц продолжал развивать свое дифференциальное исчисление. Особенное удовольствие доставляло ему решение этим способом геометрических задач. Здесь он с очевидностью мог доказать превосходство своего аналитического метода над самыми изящными геометрическими построениями. Во Флоренции Лейбничу представлялся удобный случай испытать свои силы. Здесь жил знаменитый математик Вивиани, прозванный «последним учеником Галилея». Как раз в то время, быть может, в виде вызова Лейбничу, Вивиани предложил решение довольно сложной задачи (квадратура некоторых сферических поверхностей). Лейбниц в один день решил эту задачу своим методом и, кроме того, показал, что она допускает бесчисленное множество решений.

В Болонье Лейбниц познакомился с известным химиком, физиком и математиком Гульельмини, которого привлек к участию в лейпцигских «Трудах». Этот математик так высоко ценил Лейбница, что избрал его третейским судьею в споре, затяянном им с изобретателем известного котла Папином. Между прочим, Гульельмини сблизил Лейбница со знаменитым

анатомом Мальпиги; Лейбниц, интересовавшийся всем, постоянно следил за открытиями в области естествознания и медицины.

Наконец философ прибыл в Модену и в одном старинном бенедиктинском монастыре нашел то, чего искал с таким упорством и терпением, как будто речь шла о великом научном открытии. Он отыскал надгробные камни, на которых прочел историю вельфского дома.

Еще одну роль пришлось играть Лейбничу – и в этом случае он опять оказался искусным дипломатом – роль свата. Герцогиня София не удовольствовалась исторической связью своего дома с моденскими герцогами, ее интересовал вопрос более практический – выдать свою племянницу за герцога Эсте. Герцог Моденский давно сватался к брауншвейгской принцессе, но послал для переговоров некоего графа Драгони, о котором герцогиня София писала Лейбничу: «По учению Декарта, в мозгу есть шишка, в которой сосредоточен ум; кажется, как раз этой шишкой не хватает графу Драгони». Лейбниц исправил дело и устроил этот брачный союз.

Во время своего продолжительного путешествия Лейбниц достал множество исторических документов высочайшей важности. Это побудило его не ограничиться составлением истории брауншвейгского дома, но составить сборник документов. Таким образом, возник монументальный труд, до сих пор являющийся важным источником для истории средних веков, изданный Лейбницем под заглавием: «Свод постановлений международного права» («*Codex juris gentium diplomaticus*»). Это – не простой сборник, но документальное доказательство прав Германской империи. Всего предполагалось три тома, но Лейбничу удалось издать лишь первый (документы XII—XIV веков); предприятие не могло быть доведено до конца по причине скучности императорского венского двора. Напрасно Лейбниц обратился к графам Виндишгрецу и Кинскому, прося их повлиять на императора, – равнодушие было полным.

Лейбниц написал замечательное предисловие к составленному им «Своду», в котором изложил свои взгляды на историческую критику и на философские основания права. От историка он требует добросовестной и тщательной оценки источников, указывая в особенности на заблуждения, происходящие от партийных и национальных предрассудков. «Нельзя судить, – говорит Лейбниц, – о Карле V по сочинениям французских историков, о Людовике XIII и о Ришелье – по немецким и испанским отзывам. Нельзя писать историю по слухам, надо изучать ее в архивах по документам». Все это теперь может показаться азбучными истинами, но не следует забывать, как писалась история в эпоху Лейбница. «Иногда, –

замечает Лейбниц, – простых хронологических соображений достаточно, чтобы опровергнуть такие небылицы, как, например, сказка о женщине-папе Иоанне. Эта женщина – хронологически невозможна, потому что нельзя указать год, когда она могла существовать».

Обращаясь к философскому обоснованию международных отношений, Лейбниц говорит, что они основаны на добровольных договорах и на интересах. Вот почему эти отношения и права «так разнообразны, как нравы народов, и так переменчивы, как времена». Монархи, по словам Лейбница, играют судьбами мира, как в карты, мирные договоры – не более чем временные перемирия. Гоббс прав, утверждая, что народы находятся в состоянии непрерывной войны между собою. Здесь Лейбниц снова пользуется случаем заклеймить завоевательскую политику Людовика XIV; он писал свое предисловие в том самом году, когда французы разорили и сожгли дотла Гейдельберг.

Это переменчивое и произвольное право Лейбниц называет правом дипломатическим и отличает от *естественного* права, которое заключает в себе «вечные права разумной природы» и вытекает из «божественной воли и любви как из первоисточника». *Естественное право* охватывает, по мнению Лейбница, три области, или степени, справедливости. Первую, самую узкую область составляет строгое право или взаимная справедливость, род «обмена». Принцип этой справедливости: не делай другому того, чего себе не желаешь, никого не обижай. Вторую область или степень представляет «распределительная справедливость», повелевающая: «делай другому то, что другие должны тебе делать, воздавай каждому то, что ему следует». Наконец, третью и наивысшую степень составляет «универсальная справедливость», основанная на благочестии и любви к ближнему.

Таким образом, учение Лейбница совмещает в себе разные точки зрения, из которых каждая была до и после него исходным пунктом более односторонних доктрин. «Строгое право» Лейбница имеет характер ограничительного, чисто отрицательного принципа, оно препятствует той «войне всех против всех», о которой говорил Гоббс. «Распределительная справедливость» приближается к так называемой утилитарной точке зрения. Тут уже имеется в виду положительное благо, это – принцип пользы и возможно большего благополучия. Наконец, «универсальная справедливость» Лейбница есть не иное, как христианский принцип любви к ближнему, происходящий от любви к Богу. Любовь Бога и к Богу, *amor divinus*, является для Лейбница источником наиболее высоких правовых начал. С этой точки зрения государство является для Лейбница

теократией, и задача юриспруденции, в конечном итоге, совпадает с задачами теологии.

Глава VII

Религиозная терпимость. – Девица Ассебург, хилисты и пietисты. – Планы воссоединения церквей. – Берлинская академия наук. – Любовь королевы. – «Монадология» и «Теодицея». – Смерть королевы Софии Шарлотты.

Для довершения философской системы Лейбницу недоставало одного – сильного личного чувства, без которого она получила бы, быть может, более строгий, но менее поэтический облик. Этот недостающий элемент был дан философу любовью к одной из лучших германских женщин, а именно, к первой королеве Пруссии, Софии Шарлотте, дочери ганноверской герцогини Софии. «Она – дочь своей матери: сказать это – значит, сказать все», – писал однажды Лейбниц.

Когда Лейбниц поступил на ганноверскую службу (1680), матери было пятьдесят лет, а дочери – двенадцать. Самому философу в это время исполнилось тридцать четыре года. Мать поручила ему умственное воспитание дочери. Четыре года спустя молодая девушка вышла замуж за бранденбургского принца Фридриха III, впоследствии превратившегося в короля Фридриха I. Молодые не ладили с ганноверским герцогом и, прожив два года в Ганновере, тайно уехали в Кассель. В 1688 году Фридрих III вступил на престол, став бранденбургским курфюрстом. Это был тщеславный, пустой человек, любивший роскошь и блеск. Вскоре обнаружилось несходство характеров мужа и жены: между ними не было ничего общего. Серьезная, вдумчивая, мечтательная София Шарлотта не могла выносить пустой и бессмысленной придворной жизни. О Лейбнице она сохраняла воспоминание как о дорогом, любимом учителе; обстоятельства благоприятствовали новому, более прочному сближению. Потерпев неудачу в своих широких планах церковной унии всего христианского мира и союза всех европейских государств против турецкого варварства, Лейбниц постепенно все более задумывался над мыслью о чисто германской церковной и политической унии. Он стал делать попытки к сближению разных оттенков протестантизма, хотел соединить реформатов с лютеранами. По месту своей деятельности, он естественным образом начал с Ганновера, стараясь сблизить его с Бранденбургом. Брачный союз между бранденбургским курфюрстом и ганноверской принцессой благоприятствовал его плану, который встретил особое сочувствие со стороны ганноверской герцогини Софии. Основным

качеством Лейбница была необычайно широкая терпимость; «Я почти никого не презираю», – сказал он однажды и действовал сообразно с этим изречением. Религиозные распри между различными протестантскими исповеданиями были для него, стремившегося к сближению протестантизма с католицизмом, вопиющей несообразностью. Даже к крайним протестантским сектам он относился с сочувствием, даже наиболее чуждые его натуре мистические проявления никогда не вызывали в нем чувства вражды или презрения. Превосходным образчиком этой почти безграничной терпимости Лейбница было его отношение к так называемым «хилиастам», проповедовавшим «тысячелетнее царствование» и пришествие Мессии.

В 1691 году, как раз во время переписки Лейбница с католическим богословом Пеллисоном, – переписка эта шла через руки герцогини Софии, – ганноверская герцогиня находилась в Эбсдорфе, на водах. В то время вдруг прославилась некая девица Ассебург, которую считали святой и ясновидящей. Мать этой девицы еще в детстве посвятила ее Богу. Будучи лютеранкой, она не могла отдать дочь в монастырь, но воспитывала ее, как монахиню. Еще ребенком маленькая Розамунда утверждала, что ей является Иисус во всем блеске небесного величия. Еще не умея писать, она якобы записывала слова Христа. Летом 1691 года о ней стали говорить по всей Германии. Уверяли, что она способна читать письма, написанные на любом, даже незнакомом, языке и вложенные в запечатанный конверт. Правда, нередко девица отвечала невпопад, но в таких случаях она горько рыдала и уверяла, что Иисус не явился к ней. Какие-то шутники стали писать девице Ассебург циничные письма или просто любовные послания. Она плакала и утверждала, что Иисус явился ей гневный и негодующий. Этот феномен обратил на себя внимание богословов и коронованных особ, а также всех мечтателей и мистиков.

Тогдашний лейпцигский суперинтендант Петерсен, глава «хилиастов», узнав о пророчествах девицы Ассебург, окончательно уверовал в свои фантазии, но был за это лишен должности, после чего бежал в Бранденбург. Положение девицы Ассебург также было небезопасным: некоторые богословы считали ее еретичкой, другие – свободомыслящие – предлагали посадить ее в сумасшедший дом. Вообще, умный и образованный аббат Моланус говорил: «Эту дуру надо посадить на цепь», – и прибавлял: «Выражения, которые эта девица слышит будто бы от Иисуса, такие, как, например, „моя королева“ и „моя голубка“, сколько мне известно, совсем не употребительны в небесной канцелярии».

Иного мнения был Лейбниц. Узнав от герцогини Софии о мнимых

чудесах девицы Ассебург, философ написал ей письмо, целиком обрисовывающее его собственную личность.

«Есть люди, – пишет он, намекая на Молануса, – которые судят обо всем этом настолько рыцарски, что желают упрятать девицу Ассебург в дом умалишенных. Я уверен, однако, что все это у нее происходит самым естественным путем. Многие из сообщенных о ней фактов, например, то, что она прочла запечатанное письмо английского доктора Шотта, должно быть, преувеличены. Тем не менее, я удивляюсь многим способностям человеческой души, и возможно, что о многих душевных способностях мы не подозреваем по недостатку опыта. Если встречаются подобные исключительные личности, их надо не бранить и не переделывать, а, наоборот, наблюдать и хранить, как сохраняют кабинетные редкости в кунсткамерах».

Далее Лейбниц указывает на связь самых странных сновидений и бредней с действительностью, разъясняя эту связь вполне реалистическим образом.

«Почему, – спрашивает Лейбниц, – девица Ассебург видит постоянно Христа? Очевидно, потому, что она воспитана в духе протестантизма, не признающего святых. Постоянные мысли о Боге доставили ей особую „благодать“. Почему не назвать ее видения „благодатью“?» Под „благодатью, – говорит Лейбниц, – я вовсе не подразумеваю чудо или вообще что-либо сверхъестественное, но называю так блаженное состояние, доставленное теми сладостными религиозными чувствами, которые испытывает эта девица, когда ей кажется, что она видит Христа. Боюсь только, что она начнет слишком применять свои видения ко всяkim мелочным случаям: это ей самой причинит беду».

Лейбниц всегда отличал искренний экстаз и мистический восторг от шарлатанства. Так, он жестоко осмеял «Гороскоп иезуитов», сочиненный аббатом Карре, который по Апокалипсису вывел, что иезуиты погибнут непременно между 1695 и 1713 годами.

Письмо Лейбница привело ганноверскую герцогиню в восхищение. «Оно доставило мне торжество! – пишет она Лейбнице. – В вашем письме столько здравых мыслей, такая свобода от всяких предрассудков!» Поощренный этим ответом, Лейбниц написал второе письмо, имея на этот раз в виду многих немецких коронованных особ, приехавших на воды. Кроме хилиастов, в то время подвергались гонениям еще так называемые пietисты.

«Ах, бедные люди, – писал Лейбниц. – Они скоро провалятся в бездну, в ад! Это мне не нравится! Я не люблю трагических картин и желаю, чтобы

всем было хорошо. Я не желаю также преследования „хилиастов“. Пока эти люди не нарушают общественного покоя, их не надо трогать: ожидать терпеливо пришествия Христа – право, в этом нет вины».

«Самое лучшее, – писал Лейбниц, – оставить этих добрых людей в покое. История доказывает, что секты обыкновенно возникают вследствие чрезмерного преследования единичных людей, имеющих особое мнение. Под предлогом предупреждения ереси способствуют ее возникновению. Чаще всего такие вещи сами собою исчезают, теряя прелесть новизны. Но когда поднимают слишком много шума, стараясь подавить их, то действуют подобно тому, кто вздумал бы потушить огонь при помощи мехов. Господа богословы очень часто испытывают опасение, что вдруг окажется недостаток в еретиках. Поэтому они делают все что могут, чтобы отыскать их и даже обессмертить, дают им партийные клички, такие, например, как „хилисты“, „янсенисты“, „квиетисты“, „пиетисты“, и т. п. Иному даже приносит особую честь быть ересиархом, даже не подозревая об этом. Такой случай произошел с богословом покойным Пайоном, которого его противники превратили в пайониста!»^[3].

Герцогиня послала это письмо Лейбниза своей дочери, курфюрстине Бранденбургской. Еще раньше София Шарлотта стала интересоваться каждым письмом, каждым философским трактатом своего бывшего учителя. Между нею и Лейбницем началась деятельная переписка. И он, и его ученица одинаково относились и к нетерпимости, и к вошедшему в то время в моду ханжеству, прикрывавшему заимствованную из Франции распущенность нравов. В 1692 году Лейбниц пишет Софии Шарлотте:

«Теперь всюду ханжество, и французский двор, источник мод, дает хороший пример. Все стали писать набожно, даже сатирик Буало... Все это было бы хорошо, если бы внутреннее соответствовало внешнему... Истинное благочестие чаще можно встретить у людей, которые действуют лишь как честные люди, чем у этих гасконцев набожности, неистовствующих по поводу всякой глупости».

Дальнейшая часть письма любопытна как выражение личного отношения Лейбница к Софии Шарлотте.

«Я полагаю, – пишет он, – что истинную добродетель легче найти у молодой принцессы, окруженной приманками света, чем у суровой отшельницы Антуанетты Бургиньон, которая пишет книги о добродетели, никогда не имев случая применить ее на деле. Легко изобразить из себя недоступную (prude), когда достигнешь известного возраста. Девяносто лет – отличное средство против мирских искушений. Молю Бога сохранить жизнь Вашего Высочества до возраста, когда люди по природе становятся

святыми, но пока желаю Вам разделять радости великого монарха».

До 1697 года бранденбургский курфюрст всецело подчинялся влиянию своего министра Данкельмана, который тщательно устранил Софию Шарлотту от всякого влияния на дела. Она всецело посвятила себя делу воспитания своего сына, которого нежно любила, и увлекалась музыкой. Лейбниц мало знал о внутренней жизни молодой женщины и был чрезвычайно приятно удивлен, когда узнал, что она живо интересуется не только религиозными и политическими вопросами, но и труднейшими философскими и научными исследованиями.

По смерти отца Софии Шарлотты положение Лейбница в Ганновере значительно ухудшилось. Преемник Эрнста Августа не умел ценить философа и относился к нему как к обыкновенному придворному чиновнику и официальному историографу брауншвейгского дома. Он надоедал Лейбничу, торопя его с окончанием труда, который должен был прославить его династию. Лейбниц стал с тех пор стремиться в Берлин. Различные соображения побуждали его к этому. Со смертью Эрнста Августа отношения между Ганновером и Бранденбургом стали улучшаться. В Ганновере влияла на дела герцогиня София, в Берлине все более приобретала влияние ее дочь, София Шарлотта. Последней удалось, наконец, восторжествовать над интересами временщика Данкельмана: всесильный министр пал, и с тех пор политика Бранденбурга по отношению к Ганноверу приняла мирный характер. Лейбниц увидел в этом первый шаг к осуществлению своих новых объединительных планов. Стارаясь воспользоваться удобным моментом, он написал герцогине Софии и в то же время ее дочери, предлагая себя в качестве посредника между обоими государствами. Лейбниц просил Софию устроить его тайную миссию в Берлин, куда он должен был, по его плану, постоянно приезжать будто бы с научными целями, в качестве библиотекаря, заведовавшего книгохранилищами Ганновера и Вольфенбюттеля. По обыкновению, у Лейбница при этом появились сотни планов. Главным из них был давно задуманный им проект основания немецкой академии наук. Потерпев неудачу в Вене, он теперь желал основать академию в Берлине. Лейбничу сообщили, что София Шарлотта в беседе с придворным проповедником Яблонским выразила свою радость по поводу процветания Академии художеств и в то же время сказала, что желала бы устроить в Берлине, по примеру Парижа, астрономическую обсерваторию. Лейбниц тотчас написал своей бывшей ученице восторженное письмо. «Науку я ставлю выше всего в мире, — пишет он, — но для плодотворной научной деятельности необходима правильная организация. В связи с

обсерваторией необходимо поэтому основать академию наук».

Это письмо Лейбниц написал в ноябре 1697 года. С тех пор его переписка с Софией Шарлоттой прекращалась лишь на время их частых и продолжительных свиданий. Известно 164 письма, написанных с обеих сторон в течение семи лет; на самом деле их было гораздо больше, потому что муж Софии Шарлотты (с 1701 года король прусский) по смерти жены приказал сжечь всю ее корреспонденцию. Уцелело лишь то, что было сохранено Лейбницием и ее матерью, которая на несколько лет пережила dochь.

Переписка Лейбница с Софией Шарлоттой представляет лишь бледное отражение той высокой взаимной любви, которая существовала между ними. В Берлине и в Лютценбурге Лейбниц проводил нередко целые месяцы вблизи королевы; он провожал ее также в Герренгаузен к ее матери. В письмах королевы, при всей ее сдержанности, нравственной чистоте и сознании своего долга перед мужем, никогда ее не ценившим и не понимавшим, – в этих письмах постоянно прорывается сильное чувство. «Надеюсь, что Вы сюда уже мчитесь, – пишет она в одном письме. – Я ожидаю Вас с нетерпением». «Вы не можете себе представить, как я желаю Вас видеть, как я ценю беседы с Вами; я жду Вас с невообразимым нетерпением», – сказано во втором письме. Немного погодя, Лейбниц получает третье письмо уже от Пёлльниц, фрейлины и подруги королевы. «Умоляю Вас, скорее приезжайте, – пишет Пёлльниц. – Помимо того, что Ваше присутствие приятно мне, умоляю Вас как преданная слуга Ее Величества. Вы сделаете доброе дело, здесь у королевы нет живой души, с которой можно было бы перекинуться словом». Новый ганноверский курфюрст, брат Софии Шарлотты, даже иронизировал над отношением своей сестры к Лейбничу и досадовал, замечая, что королева отвлекает Лейбница от составления истории его династии. В 1703 году он пишет: «Господин Лейбниц, по которому так страдает королева, не здесь, хотя я велел устроить для него квартиру. Если его спрашивают, отчего его никак нельзя видеть, у него всегда готово извинение, что он будто бы работает над своей невидимой книгой».

У Лейбница действительно появились занятия более интересные, чем история брауншвейгского дома. Кроме забот об устройстве Берлинской академии наук, он занимался важными политическими вопросами. Когда началась война за испанское наследство, прусский король, муж Софии Шарлотты, и курфюрст брауншвейг-люнебургский, ее брат, были на стороне императора, тогда как южногерманские курфюрсты и герцоги получали субсидии от Людовика XIV и готовы были напасть на Пруссию.

Необходимо было предупредить опасность поспешным соглашением между Пруссией и Брауншвейг-Люнебургом. Этот так называемый «вольфенбюттельский вопрос» был решен королевою с помощью Лейбница – король почти не вмешивался в важнейшие государственные дела.

В то время, как король устраивал пышные придворные празднества, на которых София Шарлотта скучала и томилась, королева любила сельскую тишину, прогулки в своем Лютценбургском саду, музыку, пение, чтение философских сочинений в тесном избранном кругу друзей. Она имела слабое здоровье и нежное телосложение. От матери она унаследовала легкий юмор, бодрость и свежесть духа. Гордость соединялась в ней с задушевностью, приветливостью и полной неспособностью к притворству. Она была живой и остроумной в беседах и любила слушать богословские споры.

Для Софии Шарлотты богословие было не только предметом развлечения. Эта глубокая натура относилась к богословским вопросам с широкой философской точки зрения, для нее это был вопрос: что есть истина? Когда ей было двадцать лет, произошло важное мировое событие – вторая английская революция, приведшая с собою эпоху Вильгельма III. Принцип свободы мысли получил в Англии широкое применение, возник деизм, явился Толанд. В области философии знаменитым Локком был совершен переворот. В то же время в Голландии началась деятельность одного из крупнейших французских мыслителей, Пьера Бейля, – начался XVIII век.

В 1700 году София Шарлотта с матерью поехала в Нидерланды. Они посетили Гаагу, где лично познакомились с Бейлем и целыми часами беседовали с ним. По возвращении королевы, как раз в то время, когда она жила в обществе Лейбница в Лютценбурге, было напечатано новое, значительно дополненное издание «Философского словаря» Бейля. Королева прочла это замечательное произведение вместе с Лейбницем. Они вместе обсуждали вопросы, возбужденные Бейлем. Не следует думать, что София Шарлотта была только ученицей, благоговевшей перед каждым словом учителя. Подобно своей матери, она отличалась умом чрезвычайно здравым, ясным и нередко сразу схватывавшим то, что ставило в тупик философов. Ее здравый смысл часто отыскивал дорогу там, где, по выражению Лейбница, «кончалась латынь философов». Еще мать королевы, узнав от Лейбница основания его «монадологии», не без остроумия заметила: «Одного не могу понять, каким образом единица может включать в себя то, чего не включает совокупность единиц? Я всегда думала, что четыре талера больше, чем один талер». София Шарлотта

также не уверовала слепо в монадологию. Математические доводы в философии казались ей неясными. Она сознавалась, что не знает математики, и, быть может, поэтому ей не все ясно. Поверхностных и так называемых «популярных» объяснений она не выносила по добросовестности натуры и пытливости ума. В одном письме к своей верной Пёлльниц она пишет: «Вот письмо Лейбница. Я люблю этого человека, но я готова на него сердиться за то, что он не доверяет моим способностям и так поверхностно объясняет мне предметы, которые серьезно интересуют меня». В своем письме Лейбниц объяснял ей между прочим теорию бесконечно малых, но ограничился самыми общими фразами. Королева шутит по этому поводу, говоря, что она более кого бы то ни было, знакома с бесконечно малыми, – достаточно посмотреть на некоторых льстивых и невежественных придворных. В другом письме Лейбниц развивал свою теорию страстей и аффектов, стараясь доказать, что страсти – не что иное, как смутные представления. Королева пишет своей Пёлльниц: «Великий Лейбниц! Ты говоришь прекрасные истины! Ты нравишься, убеждаешь, но не исправляешь».

Основание академии наук в Берлине окончательно сблизило Лейбница с королевой. Муж Софии Шарлотты мало интересовался философией Лейбница, но проект основания академии наук показался ему интересным. 18 марта 1700 года Фридрих III (в то время еще курфюрст) подписал декрет об основании академии и обсерватории. Два дня спустя Лейбниц был приглашен в Берлин, куда несколько раньше его приехала гостившая в Ганновере София Шарлотта. Кроме вопроса об академии, в Берлине были заняты свадебными торжествами: дочь курфюрста от первого брака выходила замуж. Для Фридриха III это было поводом к устройству необычайно пышных торжеств, длившихся четыре недели.

Из Парижа и Милана были нарочно выписаны певцы и танцоры; маскарады сменялись балами, балы – оперетками. София Шарлотта не вынесла такого продолжительного веселья и на время оставила Берлин. Лейбниц не мог уехать и писал ей:

«Был на оперетке: очень веселые арии. Даже такому профану в музыке, как я, это может нравиться. Вчера лишь в три часа ночи приехал в Лютценбург: веду образ жизни, который курфюрстина (мать Софии Шарлотты) называет распущенным. Я совершенно сбит с толку и вне своей стихии».

11 июля того же года, в день рождения Фридриха, была торжественно открыта Берлинская академия наук и Лейбниц назначен первым ее президентом. Не обошлось без новых празднеств и маскарадов. На этот раз

маскарад был совсем особенный. Маркграф Христиан Людвиг изображал торговца и открыл лавочку, в которой продавал колбасу и копченый язык, маркграф Альберт танцевал на канате, граф Солмс прыгал через веревочку, один из принцев изображал фокусника. Это была настоящая балаганная пародия на версальских маркизов и пастушек. На этот раз и София Шарлотта веселилась от души, изображая докторшу, и самого Лейбница хотели нарядить астрологом, но он уперся и был очень рад, когда эту роль принял на себя граф Виттгенштейн. Лейбниц описал все это празднество немного юмористически, но с восторженными отзывами о Софии Шарлотте, и ей так понравилось это письмо, что она послала копии матери в Ганновер и герцогине Орлеанской в Версаль.

Лейбниц написал по случаю открытия академии два мемуара, в которых выставил национальное значение этого учреждения для всего немецкого мира. Не мешает заметить, что к этому времени Лейбниц значительно повернулся в сторону национальных течений, стал резко восставать против «прошлогодних французских платьев» и вообще всякого рабского подражания Франции. Любопытно, что в последние годы XVII века Лейбниц все чаще пишет по-немецки, слог его постепенно освобождается от варварских латинских и французских примесей, приобретая вместе с этим мужественность и силу. Хотя свои главные сочинения он продолжает писать по-французски и по-латыни, но и одних немецких сочинений Лейбница, написанных в XVIII веке, было бы достаточно для того, чтобы составить славу крупного писателя, особенно если принять во внимание, что многие письма Лейбница стоят ученых трактатов, а из этих писем немало есть и немецких.

В своей второй записке об академии Лейбниц говорит, что новое учреждение должно быть пропитано немецким духом. Он не желает, чтобы Берлинская академия была копией Парижской. Своебразной чертой немецкой академии должно быть, по мнению Лейбница, гармоничное сочетание теории с практикой. Наука должна быть не оторванной от жизни, но примененной к нуждам гражданского общества. Лейбниц порицает науку, основанную на простом любопытстве и жажде к знанию ради знания. Не следует, говорит он, производить бесплодные опыты, не находящие себе применений, что мы часто видим в Париже, в Лондоне и во Флоренции. В академии теория должна идти рука об руку с практикой, надо заботиться не только об искусствах и науках, но и о сельском хозяйстве, ремесле, словом – об улучшении всякого рода средств к прокормлению. У самого Лейбница дело, было соединено со словом, теория с практикой. Едва вступив на пост президента Берлинской академии, он взялся за такой

чисто практический вопрос, как разведение шелковичных деревьев. Лейбниц был убежден в возможности устройства в Пруссии шелковичных плантаций и предпринял ряд опытов, впоследствии забытых и возобновленных лишь Фридрихом Великим. Чрезвычайно занимали Лейбница также вопросы практической медицины. Он был невысокого мнения о тогдашних немецких врачах (в Пруссии были почти одни военные врачи и хирурги), но следил за каждым медицинским открытием. Так, Лейбниц один из первых занялся вопросом о целебных свойствах привезенной из Америки ипекакуаны. Он энергично оспаривал известного Стала, проповедовавшего утрированный «психический принцип» и относившийся с презрением к анатомии. Лейбниц, наоборот, считал анатомию основанием медицины. В эпоху, когда военное искусство считалось благороднейшим из всех, Лейбниц заявил, что медицинская наука выше военной, и говорил, что если бы врачи были в таком же почете, как великие полководцы, то, конечно, медицина стояла бы высоко.

Вопрос о народных школах также занимал Лейбница. В этом, как и в некоторых других случаях, его опередил бывший его учитель, иенский профессор Вейгель, который в 1696 году объехал всю Германию, изучая положение весьма жалких в то время протестантских народных школ. Вейгель, однако, не обратился к Лейбничу, на которого разгневался за то, что Лейбниц не поддержал присланного им проекта переименования созвездий по гербам владетельных домов. Через третьих лиц Лейбниц, однако, узнал о новом плане Вейгеля относительно преобразования народных школ, отнесся к этой мысли чрезвычайно сочувственно и пожалел о том, что Вейгель не обратился к нему. «Впрочем, — сказал Лейбниц, — кто меня знает только по моим изданным книгам, тот меня не знает». Вейгель в том же году умер, но Лейбниц продолжил его дело и много содействовал улучшению народного образования и в Пруссии, и в Ганновере.

Первые годы XVIII столетия было счастливейшей эпохой в жизни Лейбница. В 1700 году ему исполнилось пятьдесят четыре года. Он находился в зените своей славы, не должен был думать о насущном хлебе, был независим, мог спокойно предаваться своим любимым философским занятиям, и, что всего важнее, его жизнь согревалась высокой, чистой любовью женщины — вполне его достойной по уму, нежной и кроткой, без излишней чувствительности, которая свойственна многим немецким женщинам, смотревшей на мир просто и ясно. Любовь такой женщины, философские беседы с нею, чтение произведений других философов, особенно Бейля, — все это не могло не повлиять на деятельность самого

Лейбница. Как раз в то время, когда Лейбниц возобновил связь со своей бывшей ученицей, он работал над системой «предустановленной гармонии» (1693—1696). Беседы с Софией Шарлоттой о скептических рассуждениях Бейля навели его на мысль написать полное изложение своей собственной системы. Он работал над «Монадологией» и над «Теодицеей»; в последнем труде прямо отразилось влияние великой женской души; но королева София Шарлотта не дожила до окончания этого труда.

Она медленно сгорала от хронической болезни и задолго до смерти привыкла к мысли о возможности умереть в молодости.

«Я на этот счет спокойна, — писала она Лейбничу еще в начале 1700 года. — Я убеждена, что будущего я должна менее бояться, чем настоящего. По опыту знаю, что мое тело подвержено страданиям, а будущее состояние души я не могу представить себе в таком печальном виде, как нас хотят уверить иные люди. Боязнь черта никогда еще мне не внушала страха к смерти. Вы знаете давно, сколько во всем этом есть истины, и мы будем с Вами весело говорить о предмете, который не может иметь серьезного значения для человека, подобного Вам, проникающего в причины вещей... Попспешите с приездом из милосердия к бедной Пёлльнице, которая теперь изучает математику и совсем потеряет голову, если Вы не придете к ней на помощь. Что касается меня, я довольствуюсь созерцанием фигур и чисел: все эти вещи для меня то же, что греческий язык. Только о единице (монаде) я, благодаря Вашим стараниям, имею маленькое понятие».

В начале 1705 года королева София Шарлотта поехала к матери. Лейбниц, против обыкновения, не мог сопровождать ее. В дороге она простудилась и после непродолжительной болезни 1 февраля 1705 года неожиданно для всех умерла. Внук ее, Фридрих Великий, сохранил в своих мемуарах трогательные подробности ее последних минут. Одна из ее придворных дам, видя, что королеве дурно, стала горько плакать.

— Не плачьте обо мне, — сказала умирающая, — я теперь счастлива: вскоре я буду в состоянии удовлетворить свою любознательность о первых причинах всех вещей, о пространстве, о бесконечности, обо всем, чего Лейбниц не мог мне объяснить, о бытии и о ничтожестве; а король, мой супруг, будет рад удобному предлогу обнаружить на моих похоронах свою любовь к блеску и роскоши.

Лейбниц был подавлен горем. Единственный раз в жизни ему изменило обычное спокойствие духа. Привязанность королевы к Лейбничу была настолько общеизвестна, глубокое горе философа стояло настолько выше всяких придворных сплетен и интриг, что посланники всех иностранных держав и другие лица сочли своим долгом сделать Лейбничу

визиты с выражением соболезнования об испытанной им утрате.

Через несколько дней после получения горестного известия Лейбниц писал девице Пёлльниц:

«Я не плачу и не ропщу, но не знаю, что мне делать. Порою мне кажется, что смерть королевы – это мое сновидение: но, очнувшись, я слишком чувствую, что все это истина. Ваше горе не меньше моего, но Вы еще живее чувствуете, потому что Вы были подле нее... Мое письмо более философского характера, чем мое сердце... Почтить память лучшей из королев следует не мрачной тоской, а тем, что мы будем стремиться подражать ее идеалу».

Тогда же он пишет генералу Шулленбургу:

«Хотя ум мой говорит мне, что всякие жалобы напрасны и что лучше почтить память королевы, чем жалеть о ней, но моя сила воображения постоянно заставляет меня видеть королеву со всеми ее совершенствами и говорит мне, что она у нас отнята и что я потерял самое величайшее счастье, на которое мог рассчитывать, по человеческим соображениям, на всю свою жизнь».

Действительно, философ мог думать, что королева переживает его. Лейбниц был на тридцать лет старше Софии Шарлотты: когда она умерла, ему было почти 59 лет. В первые месяцы после ее смерти он не мог заниматься ни философией, ни наукой, бросил все; написал несколько писем близким людям, затем прекратил даже свою обширную корреспонденцию и жил воспоминаниями о ней. Лишь в июле Лейбниц несколько приходит в себя и пишет письма; в каждом письме опять звучит скорбь. Он пишет (по-латыни) богослову Готтону в Кембридж:

«Моя обычная переписка с Вами и другими друзьями потерпела перерыв вследствие смерти королевы. Она была ко мне необыкновенно привязана и часто искала моего общества; таким образом, я часто наслаждался беседами с этой королевой, самой талантливой и самой приветливой из всех когда-либо живших. Избалованный этим драгоценным счастьем, я не только разделял всеобщую печаль, но, по причинам самого частного характера, испытал сильнейшее горе... Я был близок к опаснейшей болезни и едва оправился. Невероятны были у королевы способности к пониманию труднейших вещей и стремление к расширению знаний, и она со мною вела беседы, в которых еще более могла бы удовлетворить свою любознательность, к немалой пользе и для общества, если бы смерть не прервала все».

С мая по октябрь Лейбниц был постоянно болен. В ноябре он приехал в Берлин, где король Фридрих, как бы исполняя предсмертные слова жены,

опять устроил пышные празднества.

Лейбниц против воли должен был приходить, но уходил расстроенный, негодующий.

Он описал королеву и в прозе, и в лучшем из своих стихотворений.

«Она ни к кому не относилась пренебрежительно или резко и не любила, чтобы другие так относились в ее присутствии. Приветливость ее очаровывала всех... Она редко гневалась и не знала чувства мщения; рассердить ее было трудно, примирить – легко; о ней говорили, что она по характеру голубка, так мало в ней было желчи и горечи. Ложь и клевета еще в детстве были ей противны. Радовать всех и всех видеть счастливыми – в этом была радость ее сердца; чужое несчастье было ее горем».

В поэтической форме Лейбниц пытался воспроизвести свое учение о душе, вытекающее из оснований его философии.

«Это солнце стало невидимым, – пишет он, – свет высокого ума, блеск истинной добродетели, яркое сияние красоты – все погасло! Каждый дух представляет собою целое здание вселенной, как будто отраженное в одном зеркале... Он – изображение творения и был его целью... Что такое истинная любовь, как не наслаждение совершенством того, что мы любим?»

Но главный литературный памятник Софии Шарлотте поставил Лейбниц в своей «Теодицеи».

Глава VIII

Философское учение Лейбница.

В последнем десятилетии XVII века (1695—1697) был напечатан «Исторический и критический словарь» Бейля, получивший прозвание «библии скептицизма», — книга, произведшая огромное впечатление на тогдашний ученый мир и на публику и оказавшая значительное влияние на большую часть писателей XVIII столетия. Две основные идеи господствуют в этом сочинении: начало религиозной терпимости и мысль, что огромное большинство догматических положений как богословских, так и чисто философских, приводит к неразрешимым противоречиям и потому должны быть признаваемы более или менее сомнительными.

Многие из мыслей Бейля произвели глубокое впечатление на Софию Шарлотту, и, по ее просьбе, Лейбниц задумал написать опровержение этих скептических воззрений. По вопросу о религиозной терпимости мнения Бейля совпадали с его собственными: но скептицизм подкапывал основы его оптимистического миросозерцания. Бороться с таким сильным умом казалось Лейбничу долгом совести, и просьбы Софии Шарлотты ускорили его решимость. Сам Лейбниц пишет об этом в предисловии к «Теодицею»:

«Беседы со многими учеными... но, главным образом, с одною из величайших и совершеннейших монархинь привели автора к этому решению... Королева настоятельно требовала, чтобы он исполнил свое давнишнее намерение; некоторые друзья присоединились к ее голосу... Многие препятствия замедлили работу, и более всего смерть несравненной королевы. Между тем, Бейль подвергся нападкам многих замечательных людей. — Он отвечал подробно и всегда весьма умно. Я внимательно следил за этим спором и сам почти был увлечен им».

Чтобы понять «Теодицею» Лейбница, необходимо ознакомиться с основными началами его философии, с его учением о монадах. Лишь поверхностная и близорукая критика могла утверждать, что между «Монадологией» и «Теодицеей» нет никакой связи, что у Лейбница философия сама по себе, а богословие само по себе. Были даже критики, утверждавшие, что сам Лейбниц, в сущности, пантеист вроде Спинозы, что он писал «Теодицею», сам себе не веря или желая себя утешить после смерти королевы. Такое раздвоение или самообольщение настолько чуждо целостной и гармоничной натуре Лейбница, что почти не верится, чтобы люди, рассуждающие таким образом, читали то, о чем они пишут. А между

тем в числе таких критиков есть даже переводчики и усердные комментаторы Лейбница, такие, например, как новейший писатель Гоббс.

Монадология Лейбница есть первая попытка основать учение, известное в наше время под именем эволюционизма, или теории постепенного развития. Было уже указано на теснейшую связь этой теории с открытым Лейбницем методом дифференциального и интегрального исчисления. *Развитие* есть накопление или суммирование бесконечно малых изменений, подверженных известному закону и в конце концов дающих «конечное» или заметное изменение. Недаром новейшие эволюционисты избрали выражения «дифференциация» и «интеграция» для обозначения основных процессов развития. Конечно, возможны и пантеистические, и даже атеистические миросозерцания, признающие гипотезу развития; но в том виде, как она обоснована Лейбницем, самым естественным увенчанием системы является теизм, и притом в монотеистической форме, потому что, по учению Лейбница, божество есть не что иное, как наиболее совершенная из всех монад.

Что такое монада? Это не «единица» в арифметическом смысле слова, потому что в арифметике единица есть понятие относительное: данная единица состоит из меньших единиц, всякая арифметическая единица *делима*. «Не будь этого, – писал Лейбниц королеве Софии Шарлотте, – в арифметике, к величайшей радости школьников, совсем не существовало бы дробей». Монада – не атом, как его понимали древние атомисты, которых Лейбниц называет «корпускулярными философами», от слова *corpusculus* – тельце, атом. Атомы Демокрита и Эпикура, Гассенди и Гоббса *материальны*, поэтому протяженны и *делимы*, их только по недоразумению называют атомами (неделимыми). Монады Лейбница – это «метафизические» единицы, абсолютно неделимые, подобно математическим точкам. Сущность монады составляет не число, а *сила*, и, если метафизический язык Лейбница перевести, насколько это возможно, на язык современной науки, то окажется, что монады – не что иное, как *центры сил*. Лейбниц определяет их еще как «атомы субстанции». Но «субстанция» Лейбница не есть протяженная субстанция Декарта. Все субстанции, по Лейбничу, суть силы. Монады имеют существенно динамический, и притом телеологический (целесообразный) характер. Они не только неделимые единицы, но и *индивидуумы*, существа вполне самостоятельные, первобытные и способные к непрерывному развитию. Это учение прямо противоположно *пантеизму*, то есть всеобъемлющему единому принципу, но никако не противоречит монотеизму, конечно, существенно отличающемуся от канонических учений. В то же время оно

резко отличается и от дуалистической философии Декарта, проводящей непреодолимую пограничную черту между духом и материей. Господствующее в философии Лейбница понятие силы является в ней посредствующим звеном между миром материальным и духовным: сила не есть ни дух, ни материя, но принцип, без которого немыслимо ни духовное, ни материальное. Монада включает в себя и духовный, и материальный принципы. Монады не могут ни возникнуть, ни погибнуть. Лейбниц называет их *inénérables et incorruptibles*. Они так же древни, как сам мир; ни одна не возникла раньше другой, ни одна не исчезла и не исчезнет. «Поэтому сумма вселенной всегда одна и та же». Сотворение монады было бы необъяснимым чудом. Из принципа постоянства и сохранения монады вытекает принцип: «Сумма всех движущих сил природы постоянна, в природе всегда сохраняется одно и то же количество живой силы». Это утверждение Лейбница – первый и неполный шаг к установлению принципа сохранения энергии. (Ньютона, в свою очередь, содействовал открытию этого принципа своим законом действия и противодействия).

Монады не тождественны между собою по природе, но, наоборот, существенно различны. Мир состоит из непрерывного ряда монад, различных между собою по степени совершенства, но в то же время бесконечно разнообразных. В природе нет скачков, есть лишь постепенные переходы. Тоны гаммы – не единственно возможные музыкальные звуки: между двумя смежными тонами можно вставить бесконечное число промежуточных тонов. Лейбниц не допускает существования абсолютно пустого пространства и сообразно с этим полагает, что и между монадами нет пустых промежутков, нет «метафизической» пустоты.

Между природой и духом, между бессознательным существом и сознательным нет противоположности или непроходимой бездны, но есть бесчисленное множество переходных ступеней. Эта идея послужила для Лейбница источником для открытия весьма важного психологического принципа, сохранившего значение до новейшего времени и послужившего источником философского вдохновения для Гартмана и многих модных философов. Лейбниц первым установил понятие об *апперцепции* в отличие от *перцепции*, о сознании в отличие от бессознательного восприятия или представления (оба эти термина, взятые сами по себе, не совсем точно передают понятие о перцепции). Сам Лейбниц дает такое определение: «Перцепция есть внутреннее состояние монады как обладающей представлением внешнего мира (по Лейбничу, перцепция свойственна всем монадам). Апперцепция есть сознание (*conscience*) или рефлексивное познание этого внутреннего состояния (*connaissance reflexive de cet état*

intérieur), и это сознание дано не всем монадам». Самосознающая монада, в противоположность монаде, обладающей лишь неясною силою представления, обладает ясным представлением. Такая сознательная монада и есть дух. Помимо сознательных представлений есть, стало быть, *представления бессознательные*. (Это учение и послужило исходным пунктом для всех позднейших теорий «бессознательного»).

Животные – не машины, не автоматы, какими их считала школа Декарта; подобно человеку, они обладают душевными способностями, но не имеют духовной жизни; они – индивидуумы, но не личности. Душа животного может представлять, чувствовать, но не знать. Животные обладают памятью; они комбинируют впечатления прошлого опыта; но они неспособны к суждению. Собака, испытавшая удар палки, боится палки, потому что соединяет с известным зрительным образом воспоминание об испытанной боли, но она не рассуждает и не имеет идеи о причинной связи между ударом и палкою. (Это утверждение Лейбница подверглось тонкой критике со стороны скептика Бейля).

Теория бессознательных представлений, которые могут быть бесконечно малыми (*perceptions pentes*), – это учение, состоящее в очевидной связи и с монадологией, и с дифференциальным исчислением, – развито Лейбницием с большою силою, и, исходя из него, он отвергает два крайних учения, из которых одно считало дух гладкой доской (*tabula rasa*), на которой внешний опыт, при посредстве органов чувств, пишет все, что ему вздумается, тоща как другое признало существование вполне готовых врожденных идей. Обе эти школы, по мнению Лейбница, заблуждались потому, что не имели понятия о существовании *бессознательных* представлений. Рационалисты ошибались, признавая существование первичных *сознательных* представлений; сенсуалисты заблуждались, думая, что вообще никаких первичных представлений нет и быть не может. Думать, что все врожденное непременно познаётся, есть, по мнению Лейбница, крупная философская ошибка. Врожденное сначала имеет смутный характер; нередко требуется много внимания и развития для того, чтобы сознать это врожденное. Между врожденным и познанным такое же множество переходных ступеней, как между способностью и виртуозностью.

Развивая далее свое учение, Лейбниц пришел к важной мысли, что бессознательные представления составляют даже в самом развитом духовном существовании дополнение представлений сознательных. Дух человека никогда не вполне бездеятелен, даже во время самого глубокого сна. *Как только прекращается деятельность сознательных*

представлений, бессознательная душевная жизнь тотчас вступает в свои права, оставаясь тогда единственной возможной.

Теория непрерывности развития приводит Лейбница к утверждению, что бессознательные представления отличаются от сознательных лишь по степени; спускаясь постепенно вниз, он находит, что сознательные представления могут дойти до такой бесконечно малой величины, когда они становятся недоступными сознанию. «Малые перцепции», однако, играют гораздо большую роль, чем можно думать. «Они образуют это нечто, эти вкусы, эти образы, которые в целом ясны, но в частях смутны... эту связь, соединяющую каждое существо с остальной вселенной». Такова психология Лейбница. Из нее непосредственно вытекает его своеобразное учение о причинности и о свободе воли. Здесь, как и во всей философии Лейбница, мы видим стремление устраниить роковые противоречия путем «гармонического» сочетания противоречащих принципов. Лейбниц рассекает гордиев узел, заявляя, что всякая воля определена законом причинности. Вполне безусловной воли не существует. Воля есть врожденное, присущее душе стремление. Нелепо (по мнению Лейбница) утверждать, что наше хотение определено опять-таки хотением. Мы не «хотим хотеть», но «хотим действовать»; в противном случае можно было бы идти до бесконечности, то есть сказать, что мы «хотим хотеть хотеть» и так далее, а это не более чем пустое сочетание слов, потому что при такой удаляющейся в бесконечность воле мы никогда не дошли бы до ее осуществления. Отвергая так называемое безразличное состояние воли, Лейбниц применяет к нему басню об осле, который умер с голода между двумя стогами сена, колеблясь в выборе между тем и другим. Этот осел есть нечто нелепое и невозможное. На самом деле ни две половины вселенной, ни две половины самого осла не абсолютно равны и не одинаковы расположены, а потому осел непременно пойдет в ту или в другую сторону. То же относится и к человеческой воле, хотя она определяется более сложными мотивами, иногда до того сложными, что наш разум не в состоянии охватить их в целом и анализировать по частям. Свобода человеческой воли есть *независимость*, но не *произвол*. Независимость эта состоит, по Лейбничу, в том, что человек, живя сознательной, духовной жизнью, находится под влиянием бесчисленных склонностей и стремлений, из которых лишь часть представляется его сознанию, но все действуют совокупно, причем их общая равнодействующая и определяет то или иное направление нашей деятельности. «Если я в данный момент пишу эти строки, – говорит Лейбниц, – этот мой акт есть следствие „склонности“, условия которой

коренятся весьма глубоко в моей прошлой душевной жизни. В этом смысле мой настоящий акт вполне определен и мотивирован. Но разве из этого следует, что он необходим в том смысле, что я не мог бы желать во всякую минуту бросить писать, если бы захотел это сделать? Стоит поставить этот вопрос, чтобы отвергнуть такую необходимость».

Здесь Лейбниц коренным образом расходится и с защитниками теории абсолютной свободы воли, и с детерминистами, которые повторяют изречение Спинозы: «Человек, полагающий, что он свободен, подобен брошенному камню, который вообразил бы, что он хочет лететь».

Из предшествующего можно догадаться, что для доказательства бытия верховного Существа Лейбниц прибегает к доводам так называемого «космологического характера». Существование мира, по мнению Лейбница, само по себе не могло бы доказать существование Бога; последнее выводится из наличия мирового порядка. Бесчисленные монады – существа, вполне независимые между собою, развивающиеся каждая по закону своей индивидуальности. Каким же образом их совместное существование дает не хаос, а порядок? По мнению Лейбница, это объяснимо лишь допущением единой всеобщей причины, направляющей ход вещей. Другое доказательство состоит в том, что монады представляют бесчисленные ступени развития, поэтому, считает Лейбниц, должна быть высшая ступень. Эта наивысшая монада и есть Божество. В качестве наивысшей монады оно обладает и наивысшей свободой воли, наивысшим самоопределением. Подобно тому, как растение не может познать животное, а животное не может познать человека, так и нашему уму недоступно даже приблизительное познание наивысшей монады. Мы в состоянии иметь о ней лишь смутные и неясные представления, можем понять ее совершенства лишь по аналогии, сравнивая себя с существами, которые ниже нас.

Все монады, даже самая низшая, вполне независимы по своей деятельности, но не по своему существованию. Они действуют собственной силой, но сила эта создана вышею монадою – божеством. Божество относится поэтому к монадам, во-первых, как высшая сила к низшим; во-вторых, – как творец к своим созданиям. Как наивысшая монада божество есть идеал, конечная цель, к которой стремятся все прочие монады; как творческое начало оно есть конечная причина, производящая все остальные. В качестве конечной причины божество обусловливает закон механической причинности; в качестве идеала оно сознает, своею мудростью и благостью, нравственный закон. *Механик* сооружает машину, *правитель* мира устраивает государство. Поэтому мир

есть не только совершеннейший из миров по закону физической причинности, но и наилучший из возможных миров в нормальном отношении. Здесь мы видим коренной источник оптимизма Лейбница. Мировой порядок есть действие могущества и мудрости совершеннейшего существа; это утверждение ставит Лейбница в ряды действ. Но, не довольствуясь этим, он строит принцип, по которому существующий мир есть вместе с тем и наилучший из всех возможных. Если представляется бесчисленное множество возможностей, то лишь одна из них может осуществиться посредством выбора. Наивысшее существо может поступать лишь по законам благости, согласной с мудростью, по законам справедливости. Творческий акт есть вместе с тем акт правосудия. Поэтому божество и творит тот мир, который имеет наибольшие права на существование, то есть наилучший из возможных миров. Всевозможные возражения против оптимизма, по мнению Лейбница, опровергаются простым указанием на существование мира. Раз божество избрало этот мировой порядок, а не другой, стало быть, он и есть наилучший из возможных^[4].

Здесь-то мы наконец и встречаемся со знаменитой теорией «предустановленной гармонии». Мировая гармония, по учению Лейбница, есть не что иное, как акт воли божества, превращающий физическую необходимость в необходимость моральную, управляющую всеми существами без различия. Каждая монада развивается собственными силами, но эти силы не только созданы, они избраны божеством. Развитие мира есть не только сохранение мира и действующих в нем сил, но и непрерывный творческий акт, устанавливающий гармонию между творцом и миром.

Здесь не место разбирать возражения, которые противопоставлялись системе Лейбница. Достаточно напомнить, что сильнейшим противником метафизической стороны этого учения явился Кант, а остроумнейшим оппонентом морального учения Лейбница был Вольтер со своим «Кандидом». Но для лучшего понимания оптимизма Лейбница не мешает еще привести пример, данный самим философом.

Аполлон предсказывает Сексту Тарквинию, что его преступление погубит царскую власть в Риме и самого Секста. Секст жалуется на это. Аполлон – божество, знающее все заранее, – посыпает Секста к Юпитеру, – божеству, все предопределяющему, – и говорит при этом: «Знай, что боги делают каждого таким, каков он есть: волка – хищным, осла – глупым, льва – храбрым. Юпитер дал тебе злую душу, ты будешь действовать сообразно с твоей природой, и Юпитер поступит с тобою по делам твоим».

Секст является в Дельфы и умоляет самого Юпитера изменить его судьбу и улучшить его душу. Бог отвечает: «Откажись от Рима, ты станешь добрым и счастливым». Но тут Секст упирается, он не желает перестать быть тем, что он есть. Он добровольно избирает низкий поступок, который был предусмотрен и предопределен. Он совершает преступление, но зато гибнет сам, губит царскую власть и делает Рим великим и свободным. Конечно, раз Секст получил от природы злую душу, в решительную минуту не желающую «перестать быть собою», и раз Рим спасен гибелью Секста, то эта гибель сама по себе есть наименее возможное зло, и к результату остается наиболее возможное благо. Но почему боги сотворили волка хищным, а Секста – злым, и почему именно эта доля хищничества или злобы оказалась необходимою для наилучшего из миров? На эти и подобные вопросы учение Лейбница не дает удовлетворительного ответа.

Глава IX

Лейбниц и Петр Великий. – Последние годы жизни Лейбница.

Лейбничу было более пятидесяти лет от роду, когда он впервые встретился (июль 1697 года) с Петром Великим, в то время молодым человеком, предпринявшим путешествие в Голландию с целью изучения морского дела.

До этой встречи Лейбниц имел о России понятие, господствовавшее в то время на западе Европы. Московское государство почти не отличали от Турции, видя в нем в лучшем случае оплот против диких татарских орд. Когда шла речь о поддержке кандидатуры немецкого принца на польский престол, ни один из претендентов не вызвал против себя такого красноречия со стороны Лейбница, как претендент московский. «Гроза с Востока, – пишет Лейбниц от имени литвина Уликовиуса, – одинаково опасна Польше и Германии; против нее восстает чувство самосохранения». Москва на польском престоле будет, по словам Лейбница, второй Турцией, и, избрав московского царя, Польша откроет дорогу варварству, которое подавит европейскую цивилизацию. Это было написано в 1669 году.

Шестнадцать лет спустя взгляды Лейбница значительно меняются. В 1695 году он, под влиянием слухов о Петре I, уже замышляет устроить союз между Бранденбургом и Московским царством. «Я думаю, – пишет Лейбниц, – что Провидение доставляет нам прекрасный случай, если мы сумеем им воспользоваться». Но понятия Лейбница о Московском царстве все еще довольно смутны; так, он полагает, что необходимо позаботиться об устройстве миссий в России, и сносится по этому предмету с архиепископом Кентерберийским, считая английских миссионеров столь же удобными для своих целей, как и германских. Тут же Лейбниц рассуждает о миссиях в Китай и в Абиссинию, с которыми он познакомился через Людольфа. Северная война положила конец этим планам и соображениям.

Свидание Лейбница с Петром I в Ганновере (1697) в Коппенбрюкском дворце было непродолжительно, но все-таки успело ознакомить философа с личностью, слишком выдающейся, для того, чтобы не произвести на него сильнейшее впечатление. Еще раньше, по случаю избрания Августа Саксонского польским королем, Лейбниц написал латинское стихотворение, в котором говорил: «И если судьба будет благоприятна, император, царь и саксонский король, соединясь, изгонят из Европы

варварство».

Вслед за тем Лейбниц не имел случая встретиться с Петром I до 1711 года. Зато в 1707 году философу пришлось иметь свидание с противником царя, Карлом XII. «Северный Александр», как называли этого чисто военного гения, стоял лагерем в Альтранштадте. Русским посланником в Дрездене был злополучный Паткуль, которого потом выдал шведам король Август. Лейбниц много беседовал с Паткулем о России и о планах Петра I. Его интерес был возбужден этими беседами в высочайшей степени, и он, в свою очередь, развивал свои планы. В июне 1707 года философ поехал в шведский лагерь, желая увидеть Карла XII. Король долго не приезжал, наконец приехал и сел обедать. В продолжение получаса завоеватель ел с большим аппетитом, за все время не проронив ни слова. Лейбниц не мог более ждать и уехал. «Я не знал, о чем с ним говорить», – писал он английскому посланнику в Берлине, лорду Рэби.

Свидание Лейбница с Петром I в октябре 1711 года произошло при новых обстоятельствах. Одна из принцесс брауншвейгской фамилии, София Христина, вышла замуж за царевича Алексея. Софья Ганноверская писала по этому случаю Лейбничу: «Царевич и его принцесса питают друг к другу необычайную любовь». Брак состоялся в октябре. Дед невесты взял с собою Лейбница, и философ не заставил себя долго просить. «Мне было чрезвычайно любопытно, – писал он Софье Ганноверской, – увидеть вблизи такого государя, как царь». По словам Людовици, писателя, почти современного Лейбничу, философ крайне интересовался «намерением царя истогнуть своих подданных из состояния варварства и насаждить у них науки и искусства». На этот раз беседы царя с Лейбницием были хотя и непродолжительны, но богаты последствиями. Петр I просил Лейбница изложить все соображения, какие только он сочтет полезными. Лейбниц, между прочим, предложил организацию наблюдений над магнитным склонением, обрисовал в общих чертах проект законодательной реформы, указал на значение коллегиального начала в суде и администрации, наконец, набросал план реформы учебного дела и проект учреждения Петербургской академии наук. «Я хочу быть издалека русским Солоном», – писал Лейбниц Софье Ганноверской.

Осенью следующего, 1712 года, Петр I прибыл в Карлсбад. Здесь Лейбниц провел с ним долгое время и поехал с царем в Теплиц и Дрезден. Во время этого путешествия план академии наук был выработан во всех подробностях. Петр I тогда же принял философа на русскую службу и назначил ему пенсию в 2000 гульденов. Планы, проекты и письма Лейбница хранятся в Московском государственном архиве. Лейбниц был

чрезвычайно доволен своими отношениями с Петром I. «Покровительство наукам всегда было моей главной целью, – писал он, – только недоставало великого монарха, который достаточно интересовался бы этим делом».

В последний раз Лейбниц видел Петра незадолго до своей смерти – в 1716 году. Об этом свидании Лейбниц пишет:

«Я воспользовался несколькими днями, чтобы провести их с великим русским монархом; затем я поехал с ним в Герренгаузен подле Ганновера и был с ним там два дня. Удивляюсь в этом государе столько же его гуманности, сколько познаниям и острому суждению».

Если Петр I сумел оценить Лейбница, то нельзя этого сказать о всех германских монархах. Георг I по-прежнему смотрел на Лейбница только как на своего придворного историографа, стоившего ему много липших денег.

По смерти Софии Ганноверской (матери Софии Шарлотты) единственным близким человеком для Лейбница стала принцесса Каролина, впоследствии принцесса Уэльская. Еще при жизни королевы Софии Шарлотты, в 1704 году, Лейбниц познакомился с этой принцессой, которая обожала прусскую королеву. Каролину прочили в невесты эрцгерцогу Карлу, впоследствии Карлу VI (он же – испанский король Карл III). Несмотря на то, что к ней подослали ловкого иезуита Орбана, принцесса отказалась переменить веру, что удивило даже Лейбница. Вскоре после этого Каролина вышла замуж за ганноверского принца, который, по вступлении Георга I на английский престол, стал принцем Уэльским.

Лейбниц чрезвычайно привязался к молодой принцессе. Их связывали воспоминания о покойной прусской королеве. Каролина в любви к науке немногим уступала Софии Шарлотте. Через ее посредство Лейбниц вел полемику с ближайшим последователем Ньютона, Кларком.

Полемика эта была продолжением и окончанием знаменитого спора о первенстве, возникшего между Ньютоном и Лейбницем из-за открытия метода флюксий и дифференциального исчисления. Сущность спора была уже выяснена; остается сказать несколько слов о самой полемике, которая немного прибавила к славе обоих великих людей, причем в пользу Ньютона следует сказать, что он в этом деле поступил осмотрительнее и даже благороднее Лейбница, воздав ему должное в своих бессмертных *Principia*, тогда как Лейбниц в написанной им (вдобавок анонимной) статье, появившейся в лейпцигских «Трудах», отозвался о Ньютоне так, как будто тот совершил у него plagiat. Как обыкновенно бывает в таких случаях, в спор вмешались разные третьестепенные учёные, из которых одни писали пасквили на Лейбница, другие – на Ньютона. Один из таких

пасквилей побудил Лейбница как члена Лондонского королевского общества, председателем которого был Ньютон, обратиться к суду общества. Ньютон, хотя и не мог быть судьею в своем деле, искусно подготовил свою защиту, тем более, что по вопросу о первенстве был фактически прав, хотя Лейбниц обнародовал свое дифференциальное исчисление раньше появления «Начал» Ньютона. Лондонское королевское общество, рассмотрев дело, признало, что метод Лейбница в сущности тожествен с методом Ньютона, а поэтому первенство должно быть признано за английским математиком. Приговор этот, произнесенный 24 апреля 1712 года и в высшей степени раздосадовавший Лейбница, был, конечно, односторонен, так как аналитический метод Лейбница более абстрактен и более общ, чем метод флюксий. Но Лейбниц, в пылу полемики, в свою очередь писал несправедливейшие вещи, совершенно отвергая права Ньютона. Сторону Лейбница держали братья Бернулли и многие другие математики континента; в Англии, частично и во Франции, держали сторону Ньютона. Справедливее всех решила этот спор тогда же принцесса Каролина, которая всеми силами, хотя и безуспешно, пыталась примирить противников. Она писала Лейбничу:

«С настоящим прискорбием вижу, что люди такой научной величины, как Вы и Ньютон, не могут помириться. Мир бесконечно мог бы выиграть, если бы можно было вас сблизить, но великие люди подобны женщинам, которые ссорятся из-за любовников. Вот мое суждение о вашем споре, господа!» «Удивляюсь, – пишет она в следующем письме, – неужели, если Вы или Ньютон открыли одно и то же одновременно или один раньше, другой позднее, то из этого следует, чтобы вы растерзали друг друга! Вы оба – величайшие люди нашего времени. Доказывайте Вы нам, что мир не имеет нигде пустоты; Ньютон и Кларк пусть доказывают пустоту. Мы, графиня Бюккебург, Пёлльниц и я, будем присутствовать и изобразим в оригинале „Ученых женщин“ Мольера».

Как сказано, полемика, затеянная Лейбницием, через посредство принцессы Каролины, с английским богословом Кларком, была лишь продолжением борьбы с Ньютоном. Лейбниц знал, что Кларк пишет если не под диктовку Ньютона, то по его указаниям. Это заставило немецкого философа писать необычайно запальчиво. Он дошел до того, что обвинял Ньютона чуть ли не в атеизме и безнравственности.

Принцесса Каролина преклонялась перед «Теодицеей» Лейбница: книга эта вообще произвела огромное впечатление, тотчас была переведена на латинский язык и стала настольной книгой всех светских людей. Каролина хотела видеть также английский перевод «Теодицеи» и

обратилась к богослову Кларку, поклоннику Ньютона. В последний год жизни Лейбница, с ноября 1715 по ноябрь 1716, между ним и Кларком завязалась философско-богословская полемика. Лейбниц напал на всю английскую школу: на Локка за его сенсуализм, на Ньютона – за его математическую философию природы и особенно за то, что Ньютон однажды высказал взгляд на пространство как на «чувствилице» (*sensorium*) божества, относящееся к божеству, как мозг к душе. Кларк, в свою очередь, жестоко нападал на «предустановленную гармонию», которая делает излишними дальнейшие вмешательства божества в естественный ход вещей, и, следя Ньютону, сравнивал божество с часовщиком, периодически чистящим и починяющим построенный им механизм. Это в области метафизики и богословия; что касается науки, Лейбниц отвергал учение Ньютона о всемирном тяготении и вместо этого пытался подставить нечто вроде декартовских вихрей.

Последнее (пятое) письмо Кларка было послано принцессой Лейбницу, но осталось без ответа. Не успев на него ответить, Лейбниц умер.

Кроме полемики с Ньютоном и Кларком, последние годы Лейбница были отравлены до невозможности утомившою его назойливостью Георга I, постоянно делавшего ему выговоры за неаккуратное составление истории его династии. Этот король обессмертил себя рескриптом на имя ганноверского правительства, где официально выражено порицание Лейбницу, и великий философ публично назван человеком, которому не следует верить. На этот рескрипт Лейбниц ответил полным достоинства письмом, в котором писал: «Никогда не думал, что первым моим актом по восшествии Вашего Величества на престол (английский) будет апология». Когда Лейбниц написал девять десятых всего труда, работая и день, и ночь, страдая глазами от архивных занятий, которые были ему не по возрасту, король утверждал, что Лейбниц ничего не делает и забывает свои обещания, – его досадовало, что история не доведена до его собственно благополучного царствования. Последние два года жизни в Ганновере были для Лейбница настоящей пыткой. «Ганновер – моя тюрьма», – сказал он однажды. В довершение всего, приставленный к Лейбницу помощник, Георг Экгардт, оказался одним из тех людей, о которых сложилась пословица: «Нет великого человека для его лакея». Экгардт был все что угодно: льстив и лукав, как лакей, и при случае следил за Лейбницем в качестве шпиона, докладывая, например, королю и его министру Бернсторфу, что Лейбниц, по дряхлости, недостаточно работает. Когда Лейбниц заболел продолжительной болезнью, Экгардт писал: «Ничто

более не поставит его на ноги, вот если царь и еще дюжина монархов дадут ему надежду на новые пенсии, тогда сразу начнет ходить». На другой день Лейбница умер.

Смерть Лейбница была обыкновенной кончиной одинокого холостяка, не имевшего даже близких людей, которые окружали, например, Ньютона в его последние годы.

До 50-летнего возраста Лейбница редко был болен. От чересчур сидячей жизни и неправильного питания у него к этому времени развилась подагра. Путешествия обыкновенно помогали ему; медицину он уважал в принципе, но тогдашнее врачебное искусство ценил низко. В одном из писем он после прочтения книжки врача Беренса «О достоверности и трудности врачебного искусства» сказал: «Дай Бог, чтобы достоверность была так же велика, как и трудность».

Два последних года жизни Лейбница провел в постоянных физических страданиях. В начале августа 1716 года ему стало лучше, и Лейбница спешил в Ганновер, желая, наконец, окончить пресловутую брауншвейгскую историю. Он простудился, почувствовал приступ подагры и ревматические боли в плечах. Из всех лекарств Лейбница доверял лишь одному, которое когда-то подарил ему один приятель, иезуит. Лейбница принял на этот раз слишком большую дозу и почувствовал себя дурно. Прибывший врач нашел положение настолько опасным, что сам побежал в аптеку за лекарством. Во время его отсутствия Лейбница хотел что-то написать, но не мог сам прочесть написанное. Тогда он лег в постель, закрыл глаза и умер. Это было 14 ноября 1716 года.

Единственный наследник Лейбница, его племянник, священник Леффлер, явился получать наследство. Прекрасный портрет дяди он продал за несколько талеров и, к восхищению своему, получил в наследство значительную сумму денег. Когда этот племянник Лейбница возвратился домой, жена его, ожидавшая получить грош, до того обрадовалась, что с нею сделался удар.

Ганноверские граждане, исковеркавшие имя Лейбница и называвшие его Лёвеникс, что по-нижненемецки значит «ни во что не верит», ничем особым не выразили печали по такой утрате. Хоронили Лейбница так, что один приезжий шотландец возмутился и сказал: «Его похоронили не как славу страны, а как разбойника».

Основанная Лейбницем Берлинская академия наук, давно уже избравшая другого президента под предлогом, что Лейбниц прекратил научную деятельность, в то время ни словом не помянула своего основателя. Лондонское королевское общество считало неприличным

хвалить соперника Ньютона. Только в Парижской академии наук Фонтенелль прочел знаменитую похвальную речь Лейбницу, в которой признал его одним из величайших ученых и философов всех времен.

Теперь по этому вопросу не может быть двух разных мнений. Можно указать на историков философии, которые из ненависти к преувеличеному оптимизму Лейбница готовы умалить значение его истинных открытий. Но изобретатель дифференциального исчисления, основатель учения о бессознательных представлениях, первый провозвестник теории непрерывного развития, реформатор в области юриспруденции, истинный основатель Берлинской и Петербургской академий, предшественник Лессинга и Канта по вопросу о религиозной терпимости и о свободе критики, – этот всесторонний, всеобъемлющий ум занял прочное место в истории науки и философии. Этой его позиции не возьмут приступом самые ядовитые и самые мрачные пессимисты.

Глава X

Наружность и характер Лейбница.

В философии Лейбница индивидуальный принцип играет такую роль, что биографический очерк был бы неполон, если бы в нем не сказалось описания личности Лейбница даже с чисто внешней стороны. Сам Лейбниц оставил нам весьма подробное описание своей наружности и пытался также охарактеризовать себя с психической стороны.

Лейбниц был худощав, среднего роста и бледнолиц. Цвет лица его казался еще белее вследствие контраста с огромным черным, как смола, париком, который он носил по обычаю того времени. На первый взгляд он производил впечатление довольно невзрачного человека.

Во время пребывания Лейбница в Париже с ним был такой случай. Лейбниц зашел в книжную лавку, желая купить сочинение Мальбранша «Об исследовании истины». Нахальный книгопродавец, осмотрев его с ног до головы, насмешливо спросил: «Неужели вы можете читать такие книги?» Тут явился сам Мальбранш за покупками. Увидев Лейбница, с которым он был хорошо знаком, Мальбранш приветствовал его с изысканной вежливостью. Тогда книгопродавец и приказчики сообразили, с кем имеют дело, и нахальный тон сменили приторными любезностями.

О своем темпераменте Лейбниц пишет: «Его темперамент нельзя назвать сангвиничным, потому что он бледен лицом и малоподвижен; но он и не холерик, потому что мало пьет, наоборот, имеет сильный позыв к еде, крепко спит. Он и не флегматик, потому что любит душевное возбуждение, худощав, энергичен. Он и не меланхолик, потому что не страдает селезенкой, быстро думает, имеет живые желания. Холерический темперамент в нем преобладает».

Лейбниц чрезвычайно любил сладкое, даже в вино подмешивал сахар, но вообще пил мало вина, ел с большим аппетитом без особенного разбора, мог одинаково довольствоваться и скверным обедом, который ему приносили из гостиницы, и изысканными придворными блюдами. Ел он не в какое-либо определенное время, а когда придется, спал также как придется. Обыкновенно он ложился спать не раньше часу ночи и вставал не позднее семи часов утра. Такой образ жизни он вел до глубокой старости. Часто случалось, что Лейбниц засыпал в своем рабочем кресле от переутомления, так и спал до самого утра.

Лейбниц был с детства близорук и полагал, что от этого зависело его

сравнительно бедное воображение. Память у него была неровная: некоторые вещи он запоминал превосходно, другие – с трудом. По его собственным словам, «легкое было ему обыкновенно трудно, а самое трудное – легко». Он был вспыльчив, но гнев его легко прекращался, любил веселую беседу, но избегал упражнений, требующих сильного движения. Он охотно путешествовал, любил и умел говорить с людьми всех званий и профессий, любил детей, искал общества женщин, но не думал о женитьбе. Еще до сближения с Софией Шарлоттой, в 1696 году, Лейбниц сделал предложение одной девице, но та просила времени подумать. Тем временем 50-летний Лейбниц раздумал жениться и сказал: «До сих пор я воображал, что всегда успею, а теперь оказывается, что опоздал».

Его душевное настроение вполне гармонировало с его философским оптимизмом: Лейбниц был почти всегда весел и оживлен. Обо всех он отзывался хорошо, даже о Ньютоне до окончательной с ним ссоры. По словам самого Лейбница, у него был недостаток «цензорского духа». Почти всякая книга ему нравилась, он искал и запоминал в ней лишь самое лучшее. Он часто смеялся, даже тогда, когда, по его словам, это был лишь наружный, а не внутренний смех. Он был обидчив, но не мстителен, и легко было возбудить в нем чувство сострадания.

Лейбниц не относился свысока ни к какому учению и ни к какой секте. По его словам, из всех знаний он отвергал только астрологию, да и то не безусловно. «Я отвергаю влияние светил на моральный мир, – говорил он, – но весьма возможно, что от расположения светил зависят разные стихийные явления на Земле». В алхимии он отвергал нелепый символизм, но в мысли о превращении других металлов в золото не видел ничего нелепого. До каких крайностей доводил Лейбница его оптимизм, видно из одного его письма к Боссюэ, где он, говоря о злоупотреблении пытками, замечает, что бывают случаи, когда применение пытки необходимо для предотвращения еще худшего зла, которое произойдет от нераскрытия преступления.

Экгардт уверяет, что Лейбниц был скончан; зная лживость Экгардта, можно этому и не поверить. Правда, по смерти Лейбница у него нашли 12 тысяч талеров, но в его возрасте, при скромном образе жизни и пенсии, получаемой им из России, нетрудно было собрать и больший капитал. Сверх того известно, что Лейбниц тратил много денег на книги и на модели своей арифметической машины и никогда не спрашивал отчета со слуг, которые его безбожно обирали.

По некоторым данным, у Лейбница был незаконный сын, служивший у него не то лакеем, не то секретарем и не отличавшийся способностями.

Матерью его была, быть может, служанка. Если это правда, то странно, почему Лейбниц не обеспечил сына, оставив наследство племяннику, который прославился лишь поразительной неблагодарностью и пренебрежением к памяти великого дяди.

Источники

1. *Лейбниц.* Vita a se brevi ter delineata. (Краткая автобиография).
 2. *Fontenelle.* Eloge de Leibniz. 1717.
 3. *Neujbille (Jaucourt).* Histoire de la vie etc. 1734.
 4. *Ludovici.* Entwurf einer Historie der leibn. Philosophie. 1737. (С рисунком арифметической машины и др.).
 5. *Guhrauer.* «Leibniz» и его же «Kurmainz». Эти два сочинения наиболее важны. Первое представляет единственно полную и критически осмысленную биографию Лейбница.
 6. *Kuno Fischer.* Leibniz. («Geschichte der neuern Philosophie», т. 2. Биография и очерк философской системы Лейбница).
- Собрания сочинений Лейбница издавали Dutens, Guhrauer, Foucher de Careil (1859—1873) и Orino Klopp (1864—1884). Кроме того, есть множество изданий «Теодицеи» и других отдельных трудов Лейбница.

notes

Примечания

1

Лейбниц родился в Лейпциге 23 июня (4 июля) 1646 года – протестанты считали в то время по старому стилю; отец его умер 5 сентября 1652 г.

2

На языке схоластики *предикамент* означал то же, что *категория*

3

Несколько лет спустя (1699) Лейбниц, по поручению той же герцогини Софии (в то время Ганновер стал уже курфюршеством), написал строгий выговор суперинтенданту Гейнсону за то, что этот фанатический пастор жестоко преследовал так называемых пietистов, требуя содействия полиции. Лейбниц написал между прочим: «Без отлучения со стороны папы Льва X Лютер нешел бы так далеко, а без своего рода инквизиции, которую устроили в Лейпциге, не было бы никакой истории с пietистами. Если правда, что язва ереси, как вы пишете курфюрстине, захватила лучшую часть подданных, то было бы нелепо отсечь эту лучшую часть и истребить ее»

4

Любопытно сравнить эту теорию с весьма сходными утверждениями эволюционистов, у которых роль божества играет механическое приспособление, создающее мир, наиболее приспособленный